

## Вечер жизни

Палата была на пять мест, но в неё давно уже поставили шесть кроватей, а когда мест не хватало, так ещё приставляли топчан, и была такая теснота, что проходить можно было только бочком.

— К людям относись хорошо—и они к тебе так же,— вещал маленький вдовец Черенков.

На всё у него было категоричное мнение, такое бесспорно-правильное, что ему никто и не возражал. Черенков любил спать под телевизор, он вообще его обожал, знал все программы, ведущих, их личную жизнь, одежду, пристрастия. Телевизор, огромную плазму, привёз Черенкову сын, водрузил на подоконник, и теперь истеричные звуки политических и бытовых шоу с раннего утра до поздней ночи не стихали в палате. Лишь обход врача прерывал показы: Черенков перед доктором благоговел, заискивал. Он очень хотел выздороветь и верил, что если точно выполнять назначения, то организм справится.

Черенков часто и много ел; на подоконнике, рядом с телевизором, у него весь угол был забит кулками и свёртками с печеньями и сладостями; он долго спал, убаюканный телевизором, и так громко храпел, что даже перебивал звуки рекламы, а в минуты активности любил поучать сопалатников. Воспаление лёгких он подхватил на рыбалке, которую страстно любил и мог рассказывать о ней часами. Он говорил, что во время особенно хорошего клёва его бросало то в жар, то в холод, вот он в азарте и подхватил простуду, а дальше—пошло-поехало.

— В наши годы надо беречься, уже не семнадцать лет,— вздыхая, изрекал Черенков.

О себе и своих максимах он был самого высокого мнения. Выше шёл только телевизор, который был и другом, и советчиком, и развлекателем. От одиночества телевизор стал его привычкой, и, совершенно забывая об окружающих, Черенков иногда разговаривал с завсегдамыми экраном, радуясь переменам в их жизни, бытовым новостям и остротам.

В паре с огромной чёрной плазмой Черенков доминировал в палате, изводя медийным террором других больных. Это были три безропотных деревенских старика разной степени ветхости, плюс молчаливый, мучавшийся животом Фёдор

Сечкин, да ещё Петя в шортах песочного цвета— он лежал с бронхитом. Петя был человеком новой формации, он не принимал никакого участия в палатном общении, беседовал только с врачом— ухоженной и равнодушной женщиной, которую взволновать могли только благодарности в конвертах (для них на халате был нашит непрозрачный карман). В остальное время Петя лежал на кровати, уткнувшись в ноутбук и залепив уши наушниками,— сутками он смотрел сериалы, которых у него было закачено великое множество.

Кочерова привезли под вечер с тяжёлой полисегментарной пневмонией и положили сначала на топчан—мест не было. Утром, правда, быстро выписали одного из стариков, и Кочеров перебрался на кровать. Место было неудобное, напротив дверей, на самом сквозняке—из-за жары окно постоянно держали открытым. На следующий день, когда выписали ещё одного деда, лежавшего у стены, Кочеров не стал переезжать—у него уже не было сил.

Сначала он бодрился (боль сняли анальгетиками), заводил со всеми знакомства, спорил, доказывал своё (он был глуховат от перенесённого инсульта) и говорил громко, так что даже перебивал телевизор; привязался к Пете, вызнал у него, что тот—торгаш средней руки, попытался взять номер телефона, чтобы проконсультироваться, как строить теплицу, но Петя номер не дал, а только пообещал:

— Потом, потом...

Петя был человеком расчётливым и сразу решил на «колхозников» не распляться, не тратить силы.

От лекарств, от температуры, от боли Кочеров впадал в полузабытьё и вспоминал, как глупо всё вышло!.. Он копался в огороде, попал под сильный ливень, сразу начал кашлять, лечился народными средствами—пил чай с мёдом и травами, растирал грудь бараньим жиром, парил ноги на ночь в солёной воде. Вроде всё стало проходить, в груди не ломило. Через три дня снова вышел на огород—потравить колорадских жуков, и тут его скрутил такой сильный приступ боли в животе, что он потерял сознание. Очнулся уже в скорой—спасибо, соседи вызвали. А так бы и сдох между картофельных грядок, уткнувшись носом в землю.

Заросший пегой щетиной, весь в поту, со спутанными мокрыми волосами, в расстёгнутой клетчатой рубашке, в спортивных штанах, заправленных в домашние вязаные носки, Кочеров лежал на комковатом матрасе, застеленном латаной простыней, и громко думал вслух:

— У меня дочь с зятем отдыхали на Багамах, а с ними за столом была пожилая пара америкосов — негров. Им где-то по восемьдесят четыре, и они год назад поженились. У них уже десятое путешествие, никак друг другом не намилуются... Я это к чему говорю: по-разному живут пенсионеры в мире. Слышишь, Черенков?

Черенков слышал, но ничего не отвечал: рот его был набит прыником, он в очередной раз затеял чаепитие. Черенков воспринимал свою болезнь как досадное недоразумение, жизненный сбой. Он шёл на поправку, и Эльвира Львовна (лечащий врач) обещала ему скорую выписку, если в понедельник будет нормальный рентген. Всё шло хорошо, и вдруг привезли тяжёлого Кочерова, который дышит, как выброшенный на берег кашалот. Так можно и новую заразу подхватить! Из боязни инфекции Черенков теперь старался поменьше сидеть в палате. И уж тем более не вступать с беспокойным соседом в беседы.

— Сахарный диабет, гипертония, дискинезия кишечника, воспаление лёгких, — продолжал рассуждать вслух Кочеров, — целый букет. Могу ведь и ласты склеить запросто... А что, если это мои последние дни жизни? А вы — последние люди, которых я вижу на земле?... Странно как всё... Температура жарит, внутри пёком... Я бы хотел остричься наголо, всё время волосы мокрые. Сдохну я или нет, как думаете? — обратился он к товарищам по палате, но больше — к себе. — Не хотелось бы... Вчера позвонил внук, сказал, что год закончил на пятёрки, спрашивал про свой старый велосипед... Обещал, что приедет, новые ободы поставит... Я внука больше всего на свете люблю, да... Хотелось бы перед смертью его увидеть...

И Кочеров впадал в плавающее, дурное состояние, которое он называл «кома».

Ближе к вечеру ему звонила дочь. Вся палата уже была в курсе, что дочь и зять Кочерова живут в Канаде, работают в хозчасти одной крутой фирмы, внук закончил третий класс, и в августе дочь с внуком должны точно приехать. А сейчас им сорваться с места никак невозможно: надо контракт расторгать, терять выгодную работу, — и Кочеров помирал (это понимали все, включая его самого) в полном одиночестве. Дочь что-то быстро и часто лопотала, Кочеров слушал её, слепив веки (по правде говоря, он плакал от боли и бессилия, но это было почти не видно, потому что слёзы тотчас смешивались с каплями пота, терялись в них); потом Кочеров собирал остатки воли и грубо говорил ей:

— Ну хватит болтать. Денежки капаят, и немалые, — и, не дожидаясь слов прощания, обрубал связь.

Правда, Эльвира Львовна проявляла к состоянию Кочерова нерядовое внимание (видимо, дочь перевела ей деньги или как-то по-другому заинтересовала), так что нельзя сказать, что его не лечили. Ставили и капельницы, и уколы, и даже приходили ещё два врача из других отделений — для консилиума. Но болезнь развивалась, температура не падала, и с каждым днём Кочеров терял силы. Самолюбивый, властный, он не желал быть кому-то обязанным, но теперь, беспомощный, не могущий даже встать с постели, он полностью зависел от чужих людей: от настроения нянечки, выполнявшей самую грязную и стыдную работу — она подавала и выносила из-под него судно; от медсестёр, которые кололи, кто больно, кто бережно, его набрякшее тело; от соседей по палате, что приносили ему казённую еду или звали персонал, когда кончалась капельница; от посетителей, приходивших к другим пациентам, — одни вели себя шумно, «давили на мозг», другие, напротив, были тихи и скромны, журчали ручейками, и под их речь он забывался и вроде даже отдыхал.

Каждого нового человека он видел теперь выпукло, объёмно, как бы под увеличительным стеклом, а жизнь его представлялась ему при таком тщательном рассмотрении корявым недоразумением, нелепой, кособокой избушкой, построенной без плана и толка.

Он смотрел на своё прошлое издалека, отстранённо, и — изумлялся: как бестолково он прожил!.. Это был крах, полный крах его жизни. Внутренне Кочеров признал поражение и смирился с ним. Он не умирал только потому, что теперь против болезни и смерти боролся не он, разгромленный и побеждённый человек, а сама природа, частью которой он был. Кочеров всю жизнь проработал на земле и в минуты просветления думал о своих сараях, где и что надо бы в них подправить, пока лето, о том, что он тут валяется, а картошку, небось, сожрали жуки, что яблок в этом году будет тьма и что хорошо, что перепадают дожди, — огород выстоит и без полива. «Ничего... Кому-то добро достанется... Не пропадёт», — трезво думал он.

Но всё же, даже такой, брошенный, раздавленный болезнью, он всё равно пытался верховодить в палате. Все, кроме Пети с бронхитом, пребывающем в виртуальном мире, рассказывали случаи из своей жизни. Вот и он вспомнил забавное:

— У нас есть речка небольшая, неширокая, я к ней на тракторе подъехал с одной стороны прямо к воде, потом не поленился, объехал далековато по мосту, с другой стороны этот же трюк повторил. И по следу получалось, вроде как я её на тракторе переехал. Показываю бригадиру: «Миша, видишь, как я путь сократил! Я ж танкистом в армии

служил, не то что ты—стройбат». И он, дурак, полез!—Кочеров засмеялся, в груди у него забулькало, заклокотало, он закашлялся.—Он ка-а-ак застрял на середине, как завяз в иле! Материт меня страшно, ругает, проклинаят, а мы с ребятами на берегу покатываемся. Ну, пригнали гусеничный трактор, кое-как выдернули его. Я потом к ним на бригаду месяц не показывался—он меня побить обещал.

— За хулиганство могли тебя и привлечь, и оштрафовать,—осуждающе заметил Черенков.—Надо жить по закону, по-человечески к людям относиться.

Кочеров шумно вздохнул—возражать на такую глупость у него не было сил.

В палату заглянула медсестра, которую все даже в глаза звали Нюся-добрая (она была румяной, улыбочивой и всегда попадала в вену с первого раза):

— Кочеров, к вам пришли.

Из-за её спины испуганно выглядывала Света Ильичёва.

...Теперь он лежал на домашнем покрывале, на свежей, пахнувшей ветром наволочке, всем предлагал чай из липы, душицы, мяты и шиповника—удивительно пахучий, целебный.

— Это всё у меня во дворе растёт! Пробуйте! А моцарелла домашняя?.. Я год козу выбирал, чтобы вкус у молока был хороший.

Как он был рад, что теперь у него есть что-то своё и что это малое он может отдать для всех, поделиться, как делились до этого с ним!..

— Чё ж, это баба твоя была?—заинтересованно спрашивал у Кочерова девяностолетний старик Чуев, которому до всего было дело.

— Нет,—мялся Кочеров. (Врать он не любил.)

— А похожа на бабу,—рассуждал дед, смиренно лёжа на спине и сложив «по-ленински» руки на груди.—Симпатичная женщина, аккуратная. И вообще...—тут старик Чуев делал неопределённый финт рукой в воздухе. В лице его проявлялось нечто загадочно-плутоватое.

— Знакомая,—открывался Кочеров, удивляясь своей откровенности.—С женой я давно разошёлся, она в город уехала.

— А с этой дружите?—вкрадчиво интересовался старик Чуев.—Или соседствуете?

— По-разному,—ответал Кочеров и чувствовал, что силы оставляют его, но как-то по-другому, чем в прежние дни.

Он уходил в сон, и так ему было хорошо, уютно, будто он был маленьким мальчиком, и после обид, несправедливости его наконец-то утешил, пожалел и пообещал защиту кто-то большой и сильный—старший брат, например. Или отец. И теперь он чувствовал, что он—не один, и от благодарности этому невидимому защитнику было тепло в глазах и в груди, но слёз уже не было, да и сил—тоже.

Наутро был понедельник, и всё переменялось. Черенкова не выписали, хотя рентген пришёл хорошим; зато анализы—плохие.

Кочерову посоветовали настроиться на долгое лечение.

— Хорошо хоть не на кладбище,—буркнул он.

Выписали Петю с затяжным бронхитом: «У вас всё стабильно, будете наблюдаться амбулаторно».

Угрюмому Феде Сечкину пригрозили лишением больничного и штрафом—на выходных он нарушал режим, убежал домой. («Я помыться, на этаже душ не работает».—«Ничего, за неделю не завшивеете».)

Старику Чуеву, который жаловался на «вздутие живота», диагностировали пневмонию и запугали ужасами, если он будет отрицать антибиотики и другие таблетки (дед их выбрасывал в туалет, утверждая, что «пилюли убивают»; он верил только в уколы и капельницы).

Но главное—в палату заселили ещё двоих. Сразу стало тесно.

Сначала привезли парня-шабашника с разбитой головой, с сотрясением мозга—упал на стройке. Возле него хлопотала моложавая мать, отводила в сторону Эльвиру Львовну, плакала, совала свёрнутые рулетиком деньги в карман халата. Саша (так звали парня), лежал, скрючившись в позе эмбриона, с мертвенно-зеленоватым лицом. У него ещё были огромные синяки на боку, ушиб колена.

— Крепко попал парень,—уважительно хрипел Кочеров.

— Надо соблюдать технику безопасности, каску надевать,—назидал Черенков.

— Молодой, выживет,—обнадежил старик Чуев.—Зарастёт как на собаке.

На моменте обсуждения Сашиних перспектив дверь открылась, и в проёме появилось новое лицо, которое сразу привлекло общее внимание.

Это был немолодой, высокий и широкоплечий мужчина в кипенно-белой сорочке, в светлых брюках, купленных явно не на местном рынке, в остроносых кремowych туфлях «сеточкой». В руке у него была коричневая трость, украшенная золотыми пластинами, на которую незнакомец опирался с большим достоинством. Крепкая, с большой лысиной голова, отчего его чистый, без морщин, лоб казался ещё больше, правильные сухие черты лица (нос с лёгкой горбинкой придавал незнакомцу властное, даже хищное выражение), волосы цвета чёрного серебра на висках и затылке, серые широко посаженные глаза,—весь его облик порождал впечатление чего-то неуловимо знакомого, как если бы перед публикой внезапно, без подготовки и представления, появился популярный артист.

Незнакомец ослеплял: дорогая «маркая» одежда, горделивая осанка, грозный, инспектирующий

взор, коим пришелец окинул жалкий интерьер «богоугодного заведения»,— всё выдавало в нём нерадого человека. Он будто шагнул в палату для бедняков из мира состоятельных и уверенных в себе мужчин. Всё в нём дышало изысканностью и победительной силой— и лицо, и фигура, и одежда, и манеры.

— Здравствуйте!— выговорил он густым, исполненным значительности голосом.— Будем знакомы: меня зовут Александр Рудольфович.

И он не спеша двинулся в угол, где уже два дня пустовала кровать.

Следом, скромно вымолвив: «Здрасьте»,— пробиралась миловидная молодая женщина с дорожной сумкой.

— Леночка, оставь вещи здесь,— ласково сказал ей «господин». — Ступай по своим делам. Когда будут новости, я тебя извещу,— и он подставил женщине замечательно выбритую щеку для поцелуя.

Леночка благоговейно и целомудренно, будто это был священник, чуть коснулась его щеки и, воспитанно кивнув всем на прощание, безмолвно отбыла.

Новенький не торопясь достал из сумки синюю, в мелкий рубчик, пижаму, новые домашние тапочки такого же цвета и не спеша, так что все обитатели оценили его увядающее, но всё ещё мускулистое тело, тронутое ровным загаром, переоделся. На шее у него блестела серебряная плоская цепь с крестом самой простой формы. Новый пациент аккуратно сложил вещи, спрятал их и с чувством глубокого довольства жизнью и собой вытянулся на кровати.

Тут же, как из-под земли, мгновенно возникла Эльвира Львовна, стала мерить давление, щупать пульс, слушать лёгкие и вообще крутилась возле него так, будто это был только что вернувшийся с Марса космонавт, не меньше.

Окончив манипуляции с новеньким, врач окинула взглядом палату и сухо приказала Черенкову: — Телевизор, пожалуйста, уберите. Вы разве не знаете, что для коллективных просмотров в лечебных учреждениях выделены холлы?

И, едва коснувшись ухоженными пальчиками сотрясённой головы шабашника Саши, Эльвира Львовна царственно покинула палату.

Установилась напряжённая, гнетущая тишина. Черенков переживал обиду, которому ему сейчас публично нанесли, и с отчаянием смотрел на мёртвый экран плазмы. Федя Сечкин разглядывал «хиромантию» трещин на потолке и думал, какая же эта врачиха коза, с которой, вообще говоря, он жил на одной улице: «За мужиком бы своим лучше следила, а не за мной!» (Федя знал, что муж Эльвиры Львовны, инженер-дорожник, гуляет с молодухой, что, впрочем, на взгляд Сечкина, тот делал совершенно правильно.) Кочеров медленно погружался в «кому» — опять накачивал жар,

пекло в животе. Всё так же скукожившись, закусив сизые губы, трясся в ознобе Саша-шабашник.

И тогда старик Чуев сел на кровати и вперил строгий взгляд в новенького. Поймав ответный сигнал внимания от respectableного пациента, он уважительно спросил:

— А вы что же, из начальников будете?

— Нет. Я механик,— новенький отвечал охотно, без важности.— На пенсии давно, но иногда работаю частным образом.

— А-а-а... Понятно,— в голосе деда послышалось разочарование.— А больной вы чем?

— Сердце. Кардиология.

— У-у, это серьёзно,— вздохнул старик Чуев.— Да... Да...

Снова повисла пауза.

— Значит, женщина, что с вами приходила, начальница?!..— вдруг озарило Чуева.

Новенький рассмеялся.

— Нет, это невестка моя, Леночка. В налоговой работает. Но вообще вы правы: большой начальник в моей семье есть. Вот как раз звонит.

Он нажал на кнопку мобильного и даже встал, отвечая кратко, по-военному:

— Да. Нет. Хорошо. Нормально. Назначили. Всё сделаю.

Палата тревожно наблюдала за разговором.

— Галочка, милая, я уже скучаю по борщу с пампушками!— вдруг вскричал, явно играя на публику, Александр Рудольфович.— По горяченькому! И сметанку—отдельно! И лучку зелёного не забудь! Целую тебя, моя радость! Жду! Люблю!..

— Жена,— довольно пояснил Александр Рудольфович, когда разговор был окончен.— Мой главный начальник и командир! Эх,— он с наслаждением потянулся, раскинув большие красивые руки в стороны,— Галочка ты моя сизокрылая!.. Пташка любимая!..

...Интересно, как один человек, вроде бы не прилагая никаких усилий, может перестроить жизнь многих! Только сутки новенький в палате, а всё радикально изменилось. Так добрый садовник одним саженцам даёт влагу, других освобождает от сорняков, третьих пересаживает на солнце, четвёртым укрепляет почву. Он восхищался оптимизмом Черенкова и хвалил хозяйственность Кочерова, выказывая почтение старику Чуеву («Молодёжь с вас должна брать пример!») и отдавал должное самообладанию Феде Сечкина, подбодрил Сашу-шабашника («Молодец, не нытик!»), а его матери тотчас посоветовал толкового врача-невролога из этой же больницы. И доктор— да, действительно помог, показал приёмы самомассажа, снимающего боль.

В каждом из своих соседей Александр Рудольфович так точно подметил хорошее, что все уверились: судьба не случайно свела их вместе. Такие достойные люди обязательно победят болезнь,

выздоровеют и через годы будут вспоминать эти дни с приязнью и добрым чувством, как о совместном пережитом стихийном бедствии.

И, когда Александра Рудольфовича увели на обследование в другой корпус, в палате сразу стало скучно, одиноко, как будто вместе с ним ушло что-то значительное, принадлежавшее всем. Кочеров лежал, думал о том, что в любом мужском коллективе (а он всю жизнь с мужиками работал в бригаде) всегда проявляется вождь. Звание это добывается в соперничестве; ему, например, и морды приходилось бить, и работать как зверю, чтобы доказать первенство. Или—он вспомнил, как заехал сюда, — надо одной ногой в могиле стоять. А тут—пожалуйста, явился «белый и пушистый» и всех взял играючи. Обаял. Или заболтал. А чем?.. Непонятно. «За явным превосходством», — вспомнил он спортивный комментарий. «Победил нокаутом», — вздыхал Кочеров.

Черенков грустил, сидя на кровати. Утром приехал сын, забрал плазму. Подоконник сразу опустел. Чай пить тоже не хотелось. От скуки Черенков взял в руки рекламную газету, стал читать объявления вслух, попутно их комментируя: — «Продаётся дом с гаражом, газ подведён, участок двадцать две сотки». Да там и сдохнешь, на этих сотках. Утром встал, во двор вышел, а вечером зашёл — и не поймёшь, что делал... Не, дураков нету. «Отдам котят в хорошие руки, четыре мальчика, две девочки». Да утопи ты их, чё ты по газетам объявления даёшь, людей будоражишь?!.. «Куплю пшеницу». Ага, жди, кто же тебе продаст теперь. Надумал в июне месяце. «Материально обеспечен, вдовец, шестьдесят лет. Познакомлюсь с серьёзной женщиной для создания семьи». Прямо как про меня. — Черенков задумался. — А если я ещё двадцать лет жить буду? Здоровье у меня крепкое, тыфу-тыфу-тыфу. Прямо хоть женись. Саш, у тебя невеста есть?

— Я и женатый уже был... Развёлся, — мрачно отвечал Саша.

— А чё так? — старик Чуев аж приподнялся на кровати, чтобы лучше его слышать. — Готовила плохо?..

— Нет, — Саша повернулся на бок, лицо его исказилось гримасой боли. — Я вот даже не пойму теперь, честно говоря, из-за чего. Ругались всё время.

— Из-за денег, небось? — прохрипел Кочеров. — Среди баб много жадных.

Тут же он вспомнил Свету Ильичёву, которая вчера звонила и обещала прийти ещё, принести ему вещи и домашнего творога, и торопливо поправился: — Но не все, конечно.

— Нет, не из-за денег, — думал вслух Саша, морща лоб. — Я, знаете, даже понять теперь не могу. Из-за глупости, мелочей. Дурак я, наверно, был.

— Видишь, упал и поумнел, — заметил Черенков, и все рассмеялись — так это было точно сказано.

— Баба в доме должна быть, — рассуждал старик Чуев. — Если ты самостоятельный мужчина, то без бабы — никуда. Вон Федя — весь большой, врачи никак не поймут чём, какой орган воспалился, а он на выходные — к жёнке под бочок!

Сечкин только хмыкнул.

— Кха-ха, — засмеялся и закашлялся Кочеров.

— Подлечился! — развеселился Черенков. — Она ему спину потёрла...

— Эротический массаж, — не удержался Саша.

В самый разгар палатного веселья вернулся Александр Рудольфович.

— Вы, я вижу, не скучаете?

— Баб обсуждаем!

— Теоретики, — он усмехнулся. — А ко мне Галочка приходила! Мы с ней в столовой посидели, она меня борщом с пампушками покормила. Боже-ственно, друзья! Огненное блюдо!.. Хотя врач меня ограничивает: и острого нельзя, и женщину нельзя... В любой момент могу крикнуть, — и он глубоко вздохнул.

— А на вид вроде крепкий! — подивился Кочеров.

— Был крепкий! Запросто по мешку цемента под мышкой нёс. Куда всё ушло?.. Друзья, Галя мне голубцы приготовила. Берите, хватит всем. Вечером ко мне внук придёт с провизией, не стесняйтесь. — Я, пожалуй, не откажусь, — извиняюще сказал Черенков. — Соскучился по домашней пище. Ого! Это не голубец, а...

— Атомная бомба, — рассмеялся Александр Рудольфович. — У Гали всё глобально, такая она у меня. Берите, пробуйте.

Он так радушно приглашал, что все потянулись за угощением. Даже Федя Сечкин не удержался. — Хорошо! — подвёл итог старик Чуев. — Хозяйка! Дай Бог ей здоровья.

— Я, ребята, почему не помирую? — Александр Рудольфович сел на кровать, подложил под спину подушку и привалился к стене, заведя руки за голову и сомкнув их в замок. — Не хочу, чтоб моя Галя кому-то досталась, — он обвёл всю компанию острым взглядом. — Я за ней два с половиной года ухаживал!..

— И как у вас терпения хватило?.. — удивился Саша.

— Эх, ничего-то вы, молодёжь, не понимаете. А потом на каждой кочке спотыкаетесь, — Александр Рудольфович сменил позу, сел на кровати по-турецки, опершись руками о колени. — Запомните, Саша, любимая женщина — крылья вашей жизни. Он её не зависит высота полёта, — он разбойно подмигнул побитому тёзке. — А ещё — мягкость вашей посадки.

Мужики одобрительно загомонили, оценив шутку.

Александр Рудольфович замолчал, как бы взвешивая, что именно ему говорить и как, и после паузы, словно глядя в даль, начал:

— До тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года семья наша жила за колючей проволокой. Родители мои—чистокровные немцы, а в войну, как вы знаете, немцев стали выселять— на Урал, в Сибирь, в Казахстан. Нашу семью загнали аж под Караганду. Там много было ссыльных, в том числе и политических. Люди жили в землянках, родители мои работали на руднике. После смерти Сталина стало полегче—немцы отстроились, и наши посёлки до самого развала Союза продержались. Но не об этом речь. В семнадцать лет я уже всю ухаживал за девушками. Сначала за красавицей Катериной. У меня был друг Гена, смешливый парень, лёгкий на подъём. И вот мы пошли втроём в кино, Катерина между нами сидит. Вдруг я вижу, что она начинает с Геной кокетничать. Я на это дело не особо внимания обратил—мы уже год с Катериной дружили, дело к свадьбе шло, родители её во мне души не чаяли, так что чувствовал я себя весьма уверенно. Ладно. Закончилось кино, пошли мы провожать Катерину, и тут меня ребята с нашей улицы окликнули. Я отошёл к парням минут на пять, не больше. Возвращаюсь. И что же я вижу?! Гена и Катерина всю целуются! Вот тебе и друг!.. Плжуню я на это дело, развернулся и ушёл. (Катерина потом целый год за мной бегала, умоляла: вернись! Мол, это у неё случайно вышло. И плакала, и родителей насылала, но всё—бесполезно. Мои чувства к ней как отрезало, когда я её с Геной увидел. Говорю: «Гуляй, гуляй, а до губ не допускай!» Гена, кстати, её бросил. Она потом замуж вышла за сварщика, а он оказался алкоголик,— в общем, пропала по глупости.) И вот я иду по улице после этого происшествия, молодой семнадцатилетний лось, разъярённый донельзя. Иду пусть не с разбитым сердцем—говорю же, как отрезало, когда увидел их целелуи, но—с пустотой в душе. С ожесточением. Что ни говори, а предательство—ранит. Я—человек в любви точный, а тут ни с того ни с сего—такая подлость. И от кого? От лучшего друга и от девушки, на которой я собирался жениться!.. Шагаю в расстроенных чувствах, а вокруг—весна бушует, сады цветут, парочки на скамейках шушукуются. И вдруг я слышу—из открытого окна музыка льётся. У нас целые улицы состояли из бараков, и вот в одном из них в угловой комнате играет патефон, пластинку крутят, женский смех доносится. Наверное, девчонки танцы затеяли. А я до танцев был огромный охотник. Стучу—тук-тук—в створку открытого окна. Выглядывает нарядная девушка, блондинка с открытки. Завитая, губки накрашены сердечком, голубая блузка на ней с отложным воротничком. Я говорю: «Девушка, вам не скучно? Не составили вам компанию?» Она смеётся: «Заходите! Познакомимся». Я подтянулся на руках и—раз—перемахнул через подоконник. Так в окно и вошёл. С веткой сирени, которую попутно с куста сорвал.

И тут я увидел—Галю!..—Александр Рудольфович, погружённый в воспоминания, улыбнулся. Лицо его на мгновение совершенно переменялось, что-то мягкое и беззащитное проявилось в чертах.—А она—ещё красивей, чем Рая, с которой я только что разговаривал. Высокая, статная, а глаза... Никогда я таких живых и радостных глаз не видел! Я отвести от неё взгляда не мог. Онемел. Пропал. Две девушки, две красавицы, сёстры двоюродные, а ветка сирени—одна. Робяя (хотя, вообще говоря, я рохлей не был), протянул я Гале цветы. Она рассмеялась: «Вы же к Рае в окно залезли! Какой ненадёжный кавалер!» До самого утра мы танцевали, пели, разговаривали. А потом я бегал за Галей два с половиной года!.. Подарки дарил, всех ухажёров от неё отвадил. А Галя меня всё равно к себе не подпускала. Работала она учётицей на руднике. По вербовке приехала, жила у Раи на квартире. Та была постарше и очень хотела меня на себе женить. Даже напоила однажды до такого состояния, что я себя не помнил. Замуж она так и не вышла. Может, любила она меня?.. Не знаю. Где лаской, где натиском уломал я Галю, согласилась она за меня выйти. Матери написала письмо: мол, так и так, нашла себе в Казахстане парня. Та отвечает: «А он что же, казах?..» Мы с Галей смеялись до упаду. И поехал я жениться в её родную деревню Ивановку—такое у Гали было условие, чтобы мать благословила. Хотя мы разной веры, родители мои—лютеране.

— А им как, Галя нравилась?—спросил старик Чув.

— Родители в мои дела не лезли. Отец у меня очень умный был. Когда я принёс первую зарплату с шахты, он сказал: «Всё, сынок, ты—мужчина, сам за себя отвечаешь». Ну вот, приехали мы в Ивановку, день отдохнули с дороги—путь неблизкий. А потом мать привела мне двух коней, выпросила их в колхозе, чтобы возить навоз на огород. Три телеги я вывез, раскидал, дело привычное. И себя показал: будущий зять—не белоручка, работать умеет. Вот такое у меня было сватовство. Мать жила одна, бедствовала, отец их бросил—ушёл к другой женщине. Он был мужик жёсткий, много горя хлебнул. Призвали его на войну парнем, служил в сапёрах, когда вернулся, женился на Галиной матери, но—не удержался. В округе в каждой деревне от него по ребёнку было. Одних детей он признал, в других—сомневался, кому-то помогал, мимо других проходил. После войны мужчин не было, а женщинам он нравился—видный собой и добытчик. А вот с Галей и матерью не сложились у него отношения. Погостевали мы две недели, в сельсовете расписались, втроём посидели за столом—вот и вся свадьба. Но я счастлив—медовый месяц!.. На крыльях летаю. Хатёнку теще подлатал, заборы подправил, во дворе порядок навёл. И говорит мне тогда хитрая

Гая: «Не хочу я в Казахстан возвращаться. Там всё чужое. Давай тут на землю садиться». Во как! Выманила меня, окрутила, утешила, а теперь ещё в зятья захотела загнать!..

— Ловко! — Кочерова история до того завела, что он аж сел на кровати, развернувшись к рассказчику. — Именно! Задумался я крепко. Слов нет, Гаялю я любил, но бабьим умом никогда не жил. С другой стороны — что мне Казахстан?.. Как ни крути, чужая земля. Зачем мне шахта, рудник? Работа каторжная, вредная. Говорю я тогда Гале: «У нас будут дети — чему они в деревне научатся? Навоз возить? Быкам хвосты крутить?!.. Переезжать, так в город. Хотя бы в райцентр. До Ивановки от него — сорок километров. Мать состарится, ей больница понадобится, уход, мы её тогда к себе заберём». — «А жить где? По углам скитаться?» — «Построимся».

Александр Рудольфович взял с тумбочки стакан с водой, жадно отхлебнул.

— Взвоновали меня воспоминания! Ну, слушайте. Как мы строились — отдельная песня! Вдвоём дом поставили. Брёвна наверх тягали. Крышу железом крыли. Гая — молодец, никакой работы не боится. Доски строгали, я потолок два раза переделывал, не получилось у меня сначала, перекошил. А потом — дефицит же страшный, всё надо доставать по великому благу, а я — человек чужой. Ну, наладил связи, знакомства. Спасибо, деньжата кое-какие были, на шахте заработал, мать Гали нам помогала, тянулась. Ну и на своём труде сэкономили, никаких мастеров не звали. И когда мы построили дом, я под каждым окном посадил куст сирени — в память о нашей первой встрече, — рассказчик улыбнулся Саше, который слушал его, не отводя глаз. — А летом подался в Сибирь, на лесоповале сезон отрубил. Денег привёз, соболей Гале на воротник. Ни у кого такой красоты на плечах не было. Она у меня королевой ходила!.. В общем, подняли мы дом — превеликими трудами. Каждая щепочка в нём нашими руками перенянчена, каждый гвоздь памятен. В этом доме дети выросли: всё, как я хотел, Гая сделала — мальчика и девочку родила, Рудольфа и Анну. В честь моих родителей назвали. Хорошие дети, грех жаловаться. И к внукам пока претензий нет, — рассказчик рассмеялся.

— А они кем же считаются, немцами или русскими? — заинтересовался старик Чуев.

— А это — где как. В России мои дети — немцы, а в Германии — русские. Мы ж с Галей уезжали в фатерлянд, почти два года там прожили.

— Во как! — изумился Черенков. — А потом?

— Вернулись, — Александр Рудольфович развёл руками.

— Из Германии? — Кочеров подскочил. — Сюда? — он невольно обвёл палату взглядом. — Зачем?!..

Александр Рудольфович пожал плечами: мол, всякое в жизни бывает.

— Расскажите, интересно, — попросил Саша.

— Ну что вам сказать, молодой человек?.. — Александр Рудольфович в задумчивости потёр подбородок. — Сначала уехала моя старшая сестра вместе с семьёй. Муж у неё немец, дети немцы, и они быстро приспособились, привыкли, стали отправлять нам богатые посылки, евро переводить, звать в Германию. А в России был полный развал, безнадёга. И стал я агитировать Гаялю за переезд. — А дом? — ужаснулся старик Чуев. — Как же дом? — Вот именно! Гаялю мне говорит: ладно, поеду с тобой на Неметчину, ты мой муж, раз решил, так току и быть. Но прошу тебя: дом не продавай пока. Пусть год-другой постоит. На всякий случай. — А дети? — заинтересовался Кочеров.

— А с ними удивительно вышло. Дети уже взрослые были, они посоветовались между собой и говорят нам: вы поезжайте на разведку, посмотрите, а мы к вам пока в гости будем ездить. И за домом заодно приглядим. В общем, уехали мы с Галей. Сначала всё шло чин чинном. Поселились в небольшом городке, в квартире двухкомнатной, власти нам социальное жильё выделили. Работа мне сразу нашлась: устроился на бойню, на мясокомбинат. Производство механизированное, язык я знаю. Никаких переработок, чистота, зарплата хорошая. В четыре часа дня я уже дома, можно своими делами заниматься. Сестра недалеко живёт — не на пустое место приехали. В магазинах — всего навалом. Материально — не бедствуем. Но... Стал я примечать, что Гаялю моя — сохнет. Скучает. Здесь она вышла из дома — сразу за тяпку, на огород. Или за лейку — в сад. Или на улицу — языком за соседку зацепилась. Или вскочила в маршрутку, поехала детей проведать, на внуков поглядела. А тут? Вышла на улицу — кругом одни каменюки, брусчатка. Пусто, как в тюрьме, все сидят по домам. Ну, в магазин сходила. А дальше что? И стала её есть тоска. А тут ещё случай вышел. Пошла она к соседке познакомиться и, чтобы завязать беседу, попросила соли. Та ей с каменным лицом сразу целую пачку вынесла. Сестра потом стала Гале объяснять: мол, дали понять, что с тобой вообще не хотят иметь дел. Езжай в супермаркет, набери продуктов и не ходи по чужим людям. Стала моя хохлушечка вянуть, — Александр Рудольфович вздохнул. — То она была как цветок лазоревый — яркая, броская, певучая, весёлая, а то вижу, что превращается в сухофрукт морщинный. По врачам тайком бегает. Сестра мне говорит по телефону: «Александр, у Гали нашли онкологию. Наверно, придётся ей грудь отрезать». Для меня эта весть — как гром с ясного неба. Но я жене вида не подаю, что всё знаю, веду себя обычно. И вот мы сели в воскресенье с Галей за стол, покушали пельменей, выпили чайку крепкого, и я ей говорю: «Гаялю! Неужели ты думаешь, что мне Германия — дороже тебя?! Да плевал я на эти евро, на тряпки, на пиво,

на колбасу! Возвращаемся домой! Проживём. В бараках выжили, в землянках за колючей проволокой, а уж в своём доме голодными не будем!» Никогда я этот миг не забуду — как она вспыхнула! Как будто солнце её озарило! «Прости,— говорит,— меня».

А я ей в ответ: «Я тебя люблю, я это могу хоть на Красной площади сказать, хоть в бундестаге. Всё, возвращаемся!»

— Вот это да! Как в кино! — восхитился Саша.

Глаза его сияли, он хотел ещё что-то сказать, но ничего значительного, равного услышанному, придумать не смог.

— А как же грудь? — озаботился Черенков.

— Обошлось, рак задушили таблетками. А потом, как решили мы возвращаться домой, так сразу Галя переменилась! Откуда и силы взялись. Говорит: «Надо отсюда вывезти всё по максимуму. Инструменты, у нас таких нет. Запчасти на машину. Консервы, муку, крупы. Технику бытовую. Одежду закупить — чтобы и на детей хватило, и внукам на вырост. Хорошо бы и „мерседес“ пригнать».

— Хозяйственная! — позавидовал Кочеров.

— О, этого у неё не отнять. Мы к отъезду из Германии полгода готовились. Мебель и крупные вещи контейнером отправили, детей к себе вызвали, чтобы они затоварились. И да, два «мерседеса» я пригнал. Почти новые, отличного качества. А ещё я вывез вальтер в разобранном состоянии. И патроны к нему. Ничего, жить можно! Даже в России.

— Ой-ёй! — ахнул старик Чуев.

— Круто! — Саша смотрел на рассказчика с обожанием.

— Закон нарушать — себе дороже, — боязливо заметил Черенков.

— М-да, — неопределённо сказал Кочеров.

(Ему должны были ставить капельницу, но медсестра что-то не приходила. «Ладно, полчаса туда, полчаса сюда — ничего страшного», — решил он. Уж очень ему хотелось дослушать интересный рассказ до конца.)

Федя Сечкин смотрел на немца с внимательным уважением. Федя в молодости служил по контракту в спецназе и кое-что повидал в жизни, о чём не только не любил распространяться, но и вообще предпочёл бы забыть. И да, у него тоже были припрятаны дома обрез и несколько гранат — на всякий случай.

То, что немец так запросто говорил про оружие, поразило его. В спецназе Федю приучили держать язык за зубами, и он теперь молчал даже там, где надо было говорить.

— Что касается закона, — продолжал Александр Рудольфович. — Пришёл я в милицию за разрешением на приобретение оружия. Там у меня всё нормально, знакомые ребята служат. Говорят: нет проблем, носи справку из больницы. Ладно. За пять минут я прошёл нарколога, остался психолог. Захожу в кабинет. Сидит древняя старушонка,

на вид — невыразимо противная. Она мне с первой секунды не понравилась. Бывает же такая антипатия необъяснимая. И что вы думаете? Спрашивает меня скрипучим голоском: «Как вы живёте со своей женой?» Я как попёр на неё! Ну, не матом (всё-таки женщина — по крайней мере, когда-то ею была), но близко к этому. Говорю: «Какое твоё дело, сушёная каракатица, до моей личной жизни?! Ты кто? Специалист по импотенции? Сексолог-геронтолог? Ты — психолог. Занимайся своим делом и не лезь в чужую постель». А она мне: «Вы психически неуравновешенны. Это был стресс-тест. Я вам справку не дам». И — выползла из кабинета.

Александр Рудольфович изобразил эту сцену так достоверно, с таким артистизмом, что народ в палате лёг от хохота, а в дверь заглянула Эльвира Львовна, которая как раз шла мимо по коридору и удивилась столь небожничным звукам.

— Ну ладно. Я провёл расследование, всё про старую грывзу вызнал, и вечером приехал к ней домой. Захожу во дворик. Старушонка на веранде пьёт чай. Сын рядом сидит. Кстати, холостяк безнадёжный, ни разу женат не был, она его затюкала, затерроризировала, он полностью под её властью. Я, когда ехал, настроился на мирный лад. Думаю: дам ей взятку и дело улажу. Здоровоюсь чинно. Говорю, так и так, мне нужна справка для разрешения на приобретение оружия, давайте этот вопрос обсудим в деловом ключе. Но тут — кто бы мог подумать?! — рассказчик развёл руками, — стал возникать сын! Хомяк, евнухоидного типа существо, — Александр Рудольфович обрисовал в воздухе жестами округлую фигуру. — Ни с того ни с сего начал насакивать на меня: мол, зачем вы маму тревожите, она отдыхает, такие вопросы надо в рабочее время решать. Я ему говорю: заткнись! Будешь вякать, я тебя безо всякого оружия, голыми руками удавлю! Уйти ты отсюда, ради Бога, по-хорошему. Это вообще тебя не касается. И он — слился! Ушёл. Потому как трус первостатейный. А старушонка сжалась, сидит, губами жуёт. Потом всё-таки родила фразу, выдавила из себя, что справку она не даст ни за какие коврижки. А поскольку я был в ярости, то со страху сказала правду: ей «сверху» велели мне справку не выписывать. Люди из госбезопасности. Потому как я могу быть иностранным шпионом.

— Но не переживайте, вальтер я всё равно пригнал, — Александр Рудольфович усмехнулся. — Невестка у меня немножко на рынке торговала, к ней рэкет стал приставать. Она заплатила. На следующий день к ней опять амбал подкатил: мол, носи ещё, завтра приду за наличкой. Невестка прибежала ко мне жаловаться, рыдает, слёзы ручьём. Я говорю: ничего не бойся, приготовь деньги и веди себя как обычно. Пришёл я на рынок, сижу в сторонке, спокойно наблюдаю. Как только к ней



амбал подвалил, я на него сзади кинулся. Одной рукой за волосы схватил, а в другой у меня вальтер, ствол ему в рот воткнул. Говорю на ухо: «Если ты, паскуда, ещё раз тут объявишься, придут другие ребята, мы вас всех перевешаем в сосне». Он, пока слушал, обмочился весь. И— всё. Как рукой сняло! Никакого рэкета. Орднунг, порядок! Так-то, друзья,— и Александр Рудольфович легонько хлопает рукой по подушке.

Долгий летний вечер. Тихо в палате. Александр Рудольфович лежит на спине с закрытыми глазами, дышит ровно и спокойно, пижама распахнута, на широкой, правильной формы груди— серебряная цепочка с аскетичным лютеранским крестом.

Черенков смотрит в окно, в больничный двор. Он пуст. Но вот появилась нянечка с тележкой, везёт постельное бельё в стирку. «Как в сериале... Про больницу...»— и Черенков пытается вспомнить, где и когда он уже видел такую сцену.

Федя Сечкин думает, стараясь не обращать внимания на боль в правом боку. Думает он всегда медленно и основательно. Лечения здесь никакого, только блатным— это он понял. А Федя Эльвиру Львовну никак не заинтересовал. Ему не денег жалко, а просто не умеет он взятки давать. Стыдно. Ну и чёрт с ней. «Поголодаю с недельку, и всё пройдёт». Печень шалит, было уже такое. Посадил, дурак, по молодости. Некому было мозги вправить. Ну, ничего, прорвёмся. А немец— мужик серьёзный. Надо найти его после больницы, есть одно дельце.

Старик Чуев взволнован. Он крутится на кровати и так, и эдак. Его будоражат одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее. Воспоминания яркими картинками проносятся в его сознании. Ему тоже есть что рассказать— про колхозы, про обиды от властей, про стройку дома и сараев, про родную деревню, ныне совершенно убитую.

А сколько родни было!.. И какие люди!.. Вон, у его отца— семь братьев и четыре сестры. Целая улица в деревне. Её так и звали: Михайлова улица. И церковь Михайловская на горе стояла. А как загнали в колхозы, на войне мужиков перебили, стали нищетой травить, трудоднями, налогами, и— нету улицы. Вот и посоревнуйся тут с германцем!

В настоящем же моменте Чуева тревожит то, что лечение несерьёзное, никакой боли он не чувствует, а только слабеет от лекарств и лежачего образа жизни. А у него, как всегда, тьма планов!.. И, думая о них, старик молодеет лицом и потирает в нетерпении руки: во дворе надо непременно развалить старый курятник, кур перевести в сарай, где раньше были овцы. Надо попилить старые дрючки на дрова, перенести шифер под навес, нанять частника, чтобы поглядел, почему в большой дождь на коридоре протекает крыша... «Может, Сашу?»— старик Чуев оценивающе

поглядывает на шабашника-неудачника. «Много не возьмёт... Парень честный. А будет ли от него толк?»— старика терзает выбор между экономией и эффективностью.

Этих «надо» у Чуева— целый ворох, одно «надо» цепляется за другое, так что совершенно непонятно: отчего умирают люди, если у них столько неотложных дел?!

А Кочеров— мечтает. Вообще, он реалист, к грёзам не склонен. Но вот сегодня что-то его повело. «Похудеть бы, сбросить живот. Сразу сахар упадёт, и сердцу облегчение, кровь веселей побежит. Подстричься, в баньке попариться. Поставить новую лавку. (У него самая простецкая на улице— всё руки не доходили!..) Не лавку, а скамейку даже, со спинкой. Из новых досок. Болгаркой отшлифовать. Лаком покрыть? Нет, краска лучше, лак потрескается, шелушиться будет. Мы бы на этой скамейке сидели со Светой Ильичёвой. И глядели бы, как внук на велосипеде гоняет. А что? Дочь против не будет. Ей даже лучше, что отец при ком-то. А Света видишь какая гордая, ни разу не сказала: „Давай сойдёмся“. Не хочет свой двор бросать».

Кочеров так громко вздохнул, что у него кольнуло в груди. «Хотя, с другой стороны, понятно, своё всегда жалко». А хорошо бы сидеть вдвоём на лавочке и— ни о чём не думать, не разговаривать, а просто радоваться— ясному вечеру, родному человеку и что ты на свете не один, кому-то нужен, для кого-то живёшь.

Саша хмуро раскрашивает сеткой из йода свои синяки. Кто бы знал, каким одиноким и потеряннм чувствует он себя сейчас!.. «Если бы у меня был отец... Нормальный... Вот такой, с вальтером, как немец... Или старший брат. Как Федя. Конкретный мужик, не трепло. Или хотя бы дед у меня был вроде старика Чуева. Чудной он, интересный».

А у Саши— никого нет, только мать.

Где же справедливость? Почему одним— всё, а другим— удар по черепушке? Мать весь его аванс за шабашку сунула врачихе. Заработал, называется!.. А всё бедность, кроссовки лысые были, скользкие, и вот результат.

Почему так? Судьба? На роду написано? Вон Абрамович— тоже сирота, а стал миллиардером. Хотя поглядишь на его рожу— не скажешь, что умный.

Сашу постоянно терзают эти мысли, и он не находит на них ответа. И тогда он «соскакивает с темы», отмахивается от неприятных вопросов. «Пойду попрошу градусник. Надо температуру померить».

Саша не признаётся даже себе: им сейчас движет вовсе не забота о здоровье. На дежурство заступила постовая медсестра, на которую и посмотреть— счастье. Как такие девушки вырастают? Глаза— голубые, а лицо— нежное-нежное. И кажется, что улыбается она только тебе и всё

про тебя знает, а вот сказать ты ей ничего не можешь... Саша достаёт из пакета чистую футболку, лихорадочно переодевается, приглаживает волосы рукой и тихо, не привлекая внимания, выскальзывает из палаты.

Эльвира Львовна сидит дома за письменным столом под большой, похожей на шатёр, настольной лампой. Вытащила из сумочки смятые купюры, сортирует их по номиналу, тщательно расправляя и разглаживая деньги. Она ведёт три палаты терапии, сегодня у неё неплохой улов.

Совесть Эльвиру Львовну почти не тревожит. Как говорится, кто на кого учился. Она, например, в медицинституте чуть с ума не сошла, сколько ей надо было впахивать, чтобы стать врачом. Это теперь родители своим чадам дипломы покупают, а потом удивляются, почему в стране бардак. Ей, кстати, тоже надо собрать «транш», чтобы Игорь оплатил проваленный экзамен. Сын на втором курсе, в медакадемию идти не хотел категорически, вбил себе в голову, что он — музыкант, рвался в институт культуры. Но Эльвира Львовна пресекала фантазии. Сказала, что полностью лишит довольствия, если он будет игнорировать мед, где уже всё оплачено надёжным людям и такая сумма внесена, что вымолвить страшно.

Игорь, покуксившись, покорился. Он, вообще говоря, не дурак, хотя и учится через пень-колоду. Ничего, с дипломом не пропадёт. Сейчас помучается, зато всегда с куском хлеба будет, ещё скажет матери спасибо.

Эльвира Львовна втайне даже чуть-чуть гордилась собой: она не бездушный монстр, ни у кого деньги не вымогает. Тем более у бедняков. Отблагодарили — спасибо, нет — ну и ладно. Не то что анестезиолог Оськин, у которого такса на все операции расписана. Он сразу говорит пациентам: «Нет денег? Возьмите кредит, если жить хотите». Вроде в шутку, а народ приучил — без взятки в хирургию не соваться.

А так, если люди несут ей деньги, она не отказывается. Чай, не последние. И, кстати, выздоровление лучше идёт. Поскольку человек думает: я заплатил, значит, врач лечит внимательней. Хотя на самом деле что с деньгами, что без — всё одинаково. Разница — в степени любезности.

Поздно, а Володи всё нет. Эльвира Львовна стала звонить мужу, он сбросил вызов, прислал сообщение: «Дела. Скоро буду».

И такая мать — почти каждый день. «Что-то не то», — дурное предчувствие шевельнулось в душе, и тяжёлая тень заботы легла на ухоженное, млажовое лицо Эльвиры Львовны.

А летний вечер всё длился и длился.

Наступало время скошенных трав, тёплых, свежих, в которые хочется упасть и лежать, хочется даже есть их, хочется их обнимать — такие они сочные и зелёные!..

Ах, как благоухают эти травы! Так, наверное, бывает только один вечер в году, во время первого сенокоса, и оттого, что скошенные возле палисадников травы чуть запорошили дорожки, по которым ходят, гуляют, едут в детских колясках и на велосипедах дети и взрослые, весь мир похож на храм, каким он бывает на Троицу, когда весь храм — это огромный мир и когда вера — это свобода, открывающая любые двери.

Тёплые травы — тайна. Тёплые травы — тоска по несбывшемуся. Тёплые травы — любовь, жизнь, смерть и всё-таки — жизнь.

Закат в этот вечер был розовый, долгий, он окрасил округу в мягкий добрый цвет. Так бывает только однажды, потому что в природе ни один день не похож на другой, и это особенно заметно вечером, когда солнце прощается с людьми.

Это был вечер белых и розовых пионов, которые уже расцвели в палисадниках, и тонкий их аромат плыл над землёй, смешиваясь с запахами сочных свежих трав. И застенчиво, рясно цвёл пышный куст шиповника нежно-малиновыми благородными звёздами, так что от них невозможно было отвести глаз. И уже отошла сирень; только под окном у Гали рос особенный, упорный куст, где всё ещё сохранялись сизые, чуть подсохшие гроздья.

Это были поздние, стойкие, терпко и горько пахнущие соцветия.

Прекрасный вечер жизни стоял над землёй.

## Новогодняя ночь

Я — мужчина пожилой, старый алкоголик, можно сказать. Пью, потому как уверенней себя чувствую в хмельном состоянии. Мир после двух-трёх рюмок улучшается волшебным образом: всё становится разноцветным, праздничным, чувства обостряются, как в молодости. Раскованным становлюсь, остроумным — женщины от меня в восторге (мне так кажется, во всяком случае).

На исходе советских лет преподавал я в спецшколе, детишек учил. Была у меня одарённая ученица — Ксения Лапко. Девочка из интеллигентной семьи, тоненькая, светленькая, глазищи — голубые чашки, умные-умные. Родители на неё дышать боялись, мечтали вырастить из неё гармоничного человека: Ксюша и балетом занималась, и рисованием, и катанием фигурным. Чистота в ней была необыкновенная, обаяние, доброта. Замечательная девочка: глубокая, нравственная.

С отцом её, Игорем, я дружил со студенческих лет. У нас было общее увлечение: байдарочные походы, песни у костра, альпинизм. Мы с юности заразились романтикой: ждали лета, чтобы с рюкзаками в Карелию — полюбоваться высоченными соснами, устремлёнными в синее небо, или на Байкал — припасть к его священным водам, или в горы — покорять вершины, парить над миром, побеждать себя, земное притяжение.

Ксения выросла, таланты её развиться не успели—она в восемнадцать лет вышла замуж по страстной любви, одного за другим родила четырёх детей. Муж её в «лихие девяностые» разбогател, развернулся. Не буду называть его фамилию—он в России человек известный, на заре своего «бизнеса» был близок к солнцевским бандитам. А теперь он—государственный муж, уважаемый господин из высшего общества, занимается благотворительностью, помогает молодым талантам—музыкантам, художникам. Денег у него—вагон. Ксения часто путешествует по миру с детьми, к светской жизни она равнодушна. А Игорю и его жене Зое благодарный зять выстроил дачку в Подмосковье.

И вот старый друг позвонил мне перед Новым годом, говорит:

— Приезжай, посидим у камина, встретим праздник вместе. Что ты один будешь куковать?

(Знает, что с женой я развёлся—из-за моей пьянки, денег нет—откуда они у пенсионера-забуддыги?—и вообще, у меня «всё в прошлом»—как у двух старушек на картине с таким же названием.)

Прислал мне Игорь к подъезду иномарку с водителем, двинулись мы за город. Въезжаем в элитный посёлок, возле шлагбаума—охранник в камуфляже с автоматом. Я хмыкнул: вот, мол, как от народа его радители отгораживаются!.. Водитель смолчал, включил мне радио—классическую музыку, чтоб не раздражался я, значит. Едем, улица узенькая, по обе стороны—многометровые бетонные заборы. Да... Ну, правильно, зачем соседям чужое добро видеть?!

Вот и дачка Игоря. О-го-го!.. Сколько я ни считал, пять этажей получалось. И один подземный ещё—там гараж с подвалом.

Вошёл внутрь—охи, ахи, «давно не виделись!..». Постарел Игорь, лицо бледное, круги под глазами. Я тоже, понятно, не Фанфан-Тюльпан—хотя раньше меня с ним и сравнивали. Глянул на себя в зеркальную стену: бодрый старикашка, наполовину лысый, в сером костюме с Черкизовского рынка (первый раз за три года приоделся—всё повода не находилось).

Сели в каминной—большая зала, огонь потрескивает, ёлочка огоньками мигает, шкуры на полу лежат, лосины и оленье рога по стенам ветвистые тени отбрасывают, в центре стол круглый («Натуральный дуб!»—похвастался Игорь), Зоя в праздничном платье—соболя на плечах. Три официанта в белых перчатках вокруг нас хлопочут: один вино подливает (из французских погребов, сумасшедших денег стоит), другой осетрину несёт на вертеле, третий соусом потчует...

Пошла у нас застольная беседа—вокруг Ксении, понятно, других-то общих тем нету; где она сейчас (кажется, в Греции) и как жизнь у неё

ладно сложилась; правда, рисование и музыку она совсем забросила, но женское ли это дело—творчество?.. Жалко, конечно, что внуков она дедушке и бабушке редко показывает, но зато дети с ранних лет повидают мир, порадуются новым впечатлениям. «А мы что видели?!» Я подумал: а как же романтика, Домбай, Кандалакша и Листвянка?—но промолчал из вежливости, дабы не разрушать семейной идиллии.

Я—человек, не жадный на еду, но, чтобы не обижать хозяев, попробовал я всяческих блюд заморских—продукты из дальних краёв привезены и специально нанятым поваром настряпаны. Хозяйва угощают, видно, что от души. А мне, честно скажу, скучно с ними. Затосковал по своей компании: сейчас ребята, поди, у гастронома уже всюю праздник встречают, разливают по маленькой... Душевно, на природе! А Игорь—парень чуткий, заметил во мне перемену, говорит:— Давай выйдем, пройдемся по свежему воздуху. Чего сидеть?

А ночь была... бархагная, тихая. Снег искристый. Сугробы голубые. Перед Новым годом над Москвой ледяной дождь пролился, деревья от подошвы до макушки—в ледяном панцире, а каждая веточка—в чистейшем хрустале. Глянesh на аллею—красота неземная, фантастическая; и тут же себя одёрнешь: а сколько деревьев погибнет, рухнет под тяжестью льда, замёрзнет—дышать-то им нечем!

Игорь меня по дорожке тащит к фонарному столбу кованому:

— Сейчас увидишь!

Стал в сугробе рыть, откопал четвертинку, из кармана две конфетки замурзанные вытащил. Подмигивает:

— Мне Зоя не разрешает крепкое, я прячу от неё. Выпьём?

Пижонит, под народ подделывается: мол, я—могу и по-простому, из горла, хоть у меня три официанта за столом прислуживают. Слаб человек—не отказался я. Игорь приободрился:

— А помнишь, как мы жили, как за котлетами по семь копеек в очереди стояли?

Я киваю. Он хорохорится:

— Сейчас ткни пальцем в глобус—куда хочешь, туда и полетим. Хоть завтра. Мировое турне. Мы же мечтали джунгли Амазонки посмотреть!

— Нет,—говорю,—поздно мне на Амазонку. Ничего не хочу.

Думаю: друг мой старый, какую туфту ты говоришь! Мы же пятьдесят лет знакомы, вместе и за котлетами стояли, и последний сухарь в походах делили, и к девчонкам в общежитие лазили, и театр на Таганке штурмовали, и забугорные «голоса» слушали, и в стройотрядах вкалывали...

Игоря развезло, он меня стал за грудки хватать, задирается:

— Ты мне завидуешь, да? Ксении повезло, при чём тут я?!

— Дурак ты, — говорю я ему. — Чему завидовать? Ну, сидите вы за забором, знать из себя изображаете. А страна-то голая из-за вас, уродов! По миллиону человек в год вымирает. Очнись, глянь вокруг себя, чмошник! Красота ваша — мёртвая, как эти деревья, в лёд закованные. Весна наступит — кругом сучья чёрные. А Ксения... Я как представлю дочь твою, чистую, непорочную, как она в одну постель с этим Каином ложится, вынашивает в себе детей его, — мне страшно становится! Ради чего такие жертвы?! Из-за денег? Ксения не такая, чтобы за тряпки и побрызгушки продаться. Ради любви? Поди, давно прозрела, поняла, кто рядом. Значит, из-за детей терпит, мается; надеется из них людей вырастить...

Он отстал от меня. Потом... заплакал.

— Я, — говорит, — про это стараюсь не думать. От меня ничего не зависит. Зять мне фирму купил — научно-популярный журнал. Водитель привозит на работу, я достаю из сейфа бутылку и пью по рюмке в час. По пятьдесят грамм. Спать стараюсь пораньше лечь, чтобы Зоя не ругалась. Вот такая у меня жизнь. А Зоя купила на свои честные деньги избушку на Оке (по сравнению с нашей дачей — это тьфу, сарай), уезжает на лето, ходит там по грибы, по ягоды.

Я усмехнулся: у богатых — свои причуды. Игорь — четвертинку под фонарём закапывает, Зоя — «народную жизнь» изображает... Я-то им зачем?! Для «экзотики»? Вот, мол, с бедняком Новый год встретили, благотворительный ужин провели.

Игорь уже успокоился, даже вроде и протрезвел. Стал меня просвещать:

— Я в своём журнале фактически ничего не делаю, так, иногда статейку какую прочту. Одна заметка меня заинтересовала: в Израиле учёный антихриста по атомам собирает.

— Зачем?

— К концу света готовится. Он раньше трупы замораживал, чтобы оживить их через триста лет.

«Допился до белой горячки», — думаю. А вслух: — Я атеист, ни во что не верю.

— Правда? — Игорь так обрадовался, будто вместо одной зарытой чекушки две нашёл.

— Ничего «там» (я дёрнул головой вверх, показывая на небо) нету. Я своим друзьям-алкашам неоднократно эту теорему доказывал. Так что живи спокойно, не рыпайся. Расслабься и получай удовольствие в своём тереме. Кому что на роду написано, то и сбудется: судьбу не проведёшь.

А про себя подумал: «Всё равно, Игорь, ты — чмошник, прихвостень криминального капитала».

Вышло, вроде как я — батюшка и грехи ему отпустил. Да мне не жалко — всё ж таки человек катал меня на машине, кормил, поил, развлекал, да ещё и кусок жареной индейки с собой завернул.

Ну, засим мы и расстались. Водитель повёз меня домой (бедняга, Новый год в гараже встретил). На обратном пути я ему язык развязал. Рассказал: — Нормальные хозяева, хотя и с причудами. Но главное, платят в срок, жалование не зажимают.

Вот такой у меня праздник вышел.

Вечером отварил я картошечки, огурчик солёный достал из банки, старой подруге позвонил, поздравил её с тем, что дошкандыбали мы с ней своими мозолистыми варикозными лапами до нынешних дней. Потом стал петь в трубку:

Ой, матушка, грустно мне,  
Боярыня, скучно мне...

Пел власть, почти выл, и чем больше пел, тем веселей мне становилось: живём, хлеб жуём!

## Перед исповедью

Летом на Севере ночи поздние. Солнца уж нет, а небо — как перед рассветом. Сизое, тревожное. От озера веет свежестью, холодом. Оно рядом: поверни за кирпичную монастырскую стену — у каменистой тропинки плещется расплавленный свинец, седая, тяжёлая вода. Лодку редко когда увидишь — разве что на другом берегу, у сельца.

Древний монастырь отгородился от мира мощной крепостной стеной, по углам — сторожевые башни. Кругом — густая трава, кое-где — чащи лопуха.

— Обкосить бы надо, — кивает на заросли трудник Иван, староста странноприимного дома.

Он худ, костляв, тощие белые руки с выпирающими жилами до локтей покрыты тагуировкой, поверх которой — страшные ожоговые пятна, розовые шрамы. Щёки его поросли редким седым волосом. Серые глаза смотрят выпукло, открыто. Одет в чистые мятые штаны, клетчатую рубашку. На груди — большой серебряный крест с чернью на тёмном шнулке.

Они сидят на лавочке возле странноприимного дома, в закутке у свежей поленницы. Слева — монастырские стены и башни, справа, через дорогу, — тёмный разрушенный собор. Чем-то зловещим, страшным веет от его поруганного нутра, и это впечатление с наступлением ночи лишь усиливается.

Иван курит, пряча руку с папиросой под скамейку.

— Грешен, — сокрушается он, — ничего не могу с собой поделать! У отца Феофила уже дважды благословление брал бросить — а видишь, как бес силен! На исповеди каюсь, каюсь, после причастия весь день и не вспоминаю про табак. А назавтра — ну хоть ложись помирай. Не могу без него. А каждый наш грешок — бесам в зачёт, — горько-осуждающе говорит он, поглядывая на своего соседа.

Паломник появился в монастыре утром, в толпе туристов. Пока голоногая, в шортах, орава

опоясывалась юбками напрокат, чтобы войти в храм и поставить свечи, пока любители красивых видов щёлкали фотоаппаратами и любили картинку в окошки видеокамер, а детишки гонялись в теньке за одинокой бабочкой, он, единственный из всех, растерянно мялся у паперти. Ну, тут Бог ему Ивана и послал.

— Мне бы, друг, переночевать где...

Попал в точку! Иван привёл постояльца в паломническую гостиницу (по правде сказать, в старый, с тараканами и запахом погреба, дом), написал паспортные данные, определил в «келейку», выдал чистое (хоть и рваное местами) постельное бельё и, наконец, объяснил Павлу правила: — Жильё бесплатное, трапеза — в монастыре — тоже. Пьянствовать нельзя. Распутничать, непотребствовать — тоже. А раз поселился тут — неси послушание. Сейчас же выходим с тобой на монастырский огород...

Весь день паломник молча, старательно выполнял задания Ивана — травил гусениц на капусте, прореживал морковные гряды, поливал картошку. Видно было, что работа для него непривычна — городской, из Питера! А Иван и такому помощнику рад. Рассказывает:

— У меня за последнюю неделю — ты один нормальный. То бабы наедут больные (какая с них работа?! охи да ахи), то алкаш прибился (вечером поселил, утром выгнал — под кроватью две пустые чекушки нашёл), а то вообще художник попался. Крепкий мужик, с бородой. Утром, вижу, встал в пять утра, ну, думаю, вот это молельщик — к ранней службе идёт! Ляжу, он с ящиком рисовальным через плечо. Я ему: «Ты куда?» А он: «Я — человек некрещёный, мне это всё не нужно». Ах, так — ну и иди отсюда.

Постоялец глубоко, шумно вздыхает. Наконец говорит:

— А ты знаешь, я тоже с церковью не очень...

— Все мы тут не очень... были... — Иван усмехается. — Видал, какая биография? — он показывает свои руки. — Прошёл и Крым, и рым. За год (я десять месяцев тут, — поправляется он) какого народу не перевидал! И наркоманы, и ээки, и блудницы, и депутаты, и капиталисты. Бог — милостив, никому не отказывает. Главное — верить.

Павел качает головой, и лицо его искажается grimасой боли.

— Не знаю, — говорит он. — Как это так: жил как хотел, ничего не признавал, а вот когда подпёрло — помощи, Господи?

— А ты верь, — мягко увещевает паломника Иван. — Меня отец Феофил как наставляет: верить — это самое трудное. Тяжело, конечно, разумом такое объять. Но разбойник на кресте в Христа уверовал — и в Царствие Небесное вошёл. Всем нам, грешным, урок.

Павел молчит. Голубые его льдистые глаза потемнели. Черты лица его не лишены приятности,

но иногда они словно замутняются, «стираются» внутренним настроением, спина его горбится, и тогда Павел начинает походить на большого измученного муравья.

— Не бойся, — подбадривает его Иван. — Помолишься, исповедуешься отцу Феофилу — глядишь, и полегчает, отпустит.

— Не знаю, — голос Павла жалко дрогнул. — Прощается ли такое?... Человека убил я...

Но на Ивана, кажется, это откровение не произвело никакого впечатления. Он так же спокойно смотрит перед собой на смутно белеющие монастырские стены — грозно-домашние, массивно-устойчивые.

Поёрзав на скамейке и ещё раз шумно вздохнув, Павел продолжал:

— Началось это... А кто знает, когда это началось? Семья наша была безбожной. Отец — коммунист, всю жизнь на оборонном заводе мастером проработал. Мать — там же, табельщицей. Мы их с сестрой и не видели почти: с утра до вечера на производстве, работа — вот их религия. О Боге, естественно, разговоров не было. Что про это мракобесие толковать?! Твоя судьба — в твоих руках, все дороги открыты. Правда, нас с сестрой (мы двойняшки) окрестили ещё в детстве. Бабушка настояла. Уговорила мать: «На всякий случай...»

Я, конечно, ни во что «сверхъестественное» не верил. Хотя ещё с детства чуял: «что-то» есть. Отдыхали мы с отцом на Ладого, ему путёвку от работы дали. А там такие виды... Большая вода, валуны времён великого оледенения и — небо, небо! Оно всё время движется, беспокойное. Будто говорит о чём. И я подумал: неужели всё это — просто так появилось, само собой?! От прибрежной сосны до вечной волны?! И вся красота сотворённая — смысла не имеет?! Так меня это открытие поразило! Долго я потом от себя «морок» отгонял...

В армию я попал в Афган (тогда из институтов брали, после первого курса). Служил в танковой роте, заряжающим на Т-62. Сопровождали мы колонны с войсками. Кругом — горы, за каждым поворотом — смерть. Главная опасность — не засады, а мины и фугасы. Командир танка, лейтенант Разумцев, кстати, у нас был верующим. Чего особо не скрывал. Меня это смущало ужасно: боевой офицер, орденом Красной Звезды награждён — Богу молится! Хотя матом иногда он с таким остервенением крыл — я такого больше никогда не слышал!.. Но теперь, если честно, я вспоминаю эти годы как самые лучшие в своей жизни. Очень всё ясно, определённо было. Сейчас много пишут, как шурави мирное население обижали. Не знаю. Мы, например, никого не пытали и не расстреливали. Боевых потерь в нашей роте не было. Зато переболеть в Афгане тяжёлым гепатитом — это обычное дело. Много мы там здоровья оставили.

Вернулся я домой, в институт (учился на инженера-строителя), и закружила меня гражданская жизнь. Уходил салагой, обычным городским парнишкой, а вернулся героем—воином-интернационалистом! Жизненного опыта прибавилось, а ума—не очень... Хотелось мне «всё попробовать»—это с одной стороны, а с другой—тосковал я по любви-страсти, как в книжках. Но жениться не собирался, у меня и понятия, что такое семья, не сложилось.

В общем, загудел я—танцы-шманцы-обжиганцы. Уже Союз закачался, старая «религия»—что такое хорошо и что такое плохо—трещала по швам, а новой—откуда взяться?! Всё разрешено, что не запрещено законом. Политикой я никогда не интересовался, но жить в чумном бараче и не заразиться—не получилось.

На одной вечеринке познакомился я с девушкой. До этого я больше с однокурсницами «зажигал», а тут—милое создание, простушка, вчерашняя школьница из области, училась в ПТУ на мастера обувного производства. Что-то в ней чистое, наивное было. Ожидание любви, чуда. А я, надо признать, был воспитан в убеждении, что все люди—друг другу равны. Никаких представлений о разнице социальных слоёв у меня не было. Ну и правильно: пока мы с Катей перемигивались, пока я ухаживал за ней, на свиданья бегал, пока сторал от желания, казалось, что мы созданы друг для друга. А я ведь и не знал её толком... Куда там! До этого ли?

В общем, добился я своего. И вгорячах не рассчитал—забеременела она. Ну, у неё-то и по давню никакого «опыта» до меня не было. Она—в слёзы! «Я замуж пока не хочу!» Можно подумать, я мечтал жениться!

Теперь мне думается: брось я её тогда, будь я подлеем более явным, определённым, может, лучше это для нас было бы? Конечно, она бы переживала страшно, может быть, прокляла бы меня, но жизнь её все равно бы со временем наладилась. А я решил поиграть в благородство.

Повёл Катю в больницу, избавляться от ребёнка. Женщина-врач так строго с ней говорила... И запугивала: подумайте, у вас детей может не быть... Вышла Катя из кабинета—губы трясутся. Белая вся. Очень она тогда впечатлительной была. «Не могу,—говорит,—страшно мне. Давай родителям скажем».

И пошли мы сдаваться. Порознь. Вместе—духу не хватило. Я дома сказал: так и так, Катя ждёт ребёнка, мы поженимся, в общежитии комнату дадут... Родители, конечно, в шоке. А у неё дома вообще полтавская битва: общий вой, уныние и бой посуды. Хотя, если вдуматься, ничего страшного ещё не случилось: рождение—не похороны!

К браку мы были не готовы. Что такое муж, семья, ответственность—у меня на этот счёт

ноль представлений. А Катя, та в голос кричала: «Я замуж не хочу!» Не за меня, а вообще. Ругались мы жутко—и до свадьбы, и после, и когда Денис родился. Это теперь сын для меня—самое главное в жизни, а тогда... Обуза орущая...

Разные мы оказались люди. Совсем. Она—домоседка, а я—душа компании. Для неё главное—уют, занавесочки, салфетки, креслица, кастрюльки, а мне подавай книги, музыку, альпинизм. Я, честно скажу, презирал её за приземлённость интересов, за «бездуховность». Хотя, если вдуматься, у неё были естественные, совершенно нормальные для обычной женщины стремления. Искорёжил я ей жизнь. С другим-то человеком она наверняка была бы счастлива. И он—с ней.

А так... Мучили мы друг друга. Может, неосознанно мстили за жизнь в нелюбви. И Денис с нами мучился. Бедняга, как он в таком аду выжил, с ума не сошёл? Парень рос нервный, резкий.

Она поначалу за меня сражалась. Как могла: обедами, рубашками чистыми, уютом в нашей общежитской комнатёнке. Можно было, конечно, развестись: год промучились, два—хватит! И опять: не поздно это было бы для неё—новую жизнь начать, счастье найти. Но меня смущали предрассудки, гордыня: как это так—я женщину с ребёнком брошу? Что обо мне скажут? Общественное мнение волновало, а вот каково ей со мной—это дело второе. Тем более что мне с ней жить—тоже не сахар! К тому же на очереди мы стояли—квартиру должны были получить скоро, работал я инженером в стройуправлении. И это тоже сдерживало. Сейчас оглядываешься на прошлое и думаешь: какие глупости, мелочи! А вот имели они вселенское значение, на них-то жизнь и ушла!

И потом, что я о Кате, о её благополучии думал?! Её жизнь меня вообще мало волновала. Вся она казалось открытой, как на ладони. Никакой тайны. А я любви всё искал. Хотел познать, что это такое. Видно, были в меня какие-то страсти разрушительные заложены. И пустился я... ну, не сказать, что во все тяжкие, нет. Скорее, на поиски. Была у меня пара романов. Я, правда, аккуратно погуливал, Катя и не догадывалась ни о чём. Но разочаровался я в женщинах быстро. Всё одно и то же. Пустота. Никакого смысла.

И плюнул я на это дело. Было мне тридцать лет. Некоторые мои однокурсники к этому времени уже были по несколько раз женаты, и все—неудачно. Кое-кто спился до бомжеобразного состояния. Некоторые в бизнес ушли, единицы—круто разбогатели. Кто-то жил более благополучно, кто-то менее, но счастливых среди нас не было. Случайно ли это, или жизнь вообще—одна большая беда с вариациями?!.. Не знаю.

Карьерой своей я никогда не занимался, но профессию не бросал, и более-менее сносный

заработок она мне давала. Денис подросток, Катя устроилась на почту недалеко от дома. Внешне — благополучная семья. Ругань первых лет утихла, жили мы без лада, внешними целями — чужие люди, соединённые волей обстоятельств. Гулянки я свои бросил, ни на какие женские призывы со стороны больше не реагировал. Твёрдо решил: не для меня это. Тем более что все нормальные бабы, в принципе, стремились только к одному — к замужеству. Но менять шило на мыло я не собирался.

От прошлой моей жизни осталось только одно стойкое увлечение — альпинизм. Ещё в Афгане полюбил я горы. Вроде бы странное дело: горы несли опасность, смерть, тайну, — а всё равно... Тому, кто не испытал этого сладостного чувства — покорения вершины, альпинистов не понять. «Как мы с рюкзаками шагали по шатким уступам в горах, как медленно струйки стекали за ворот промокших рубаш». Холод, ветер, дождь, снег. Камнепады, лавины, ледопады, гроза, тяжёлое оборудование. И — друзья, «посвящённые» в горы. Альпинизм — это не спорт. Это своего рода тоже религия.

Кучковались мы вокруг туристского клуба «Перевал». Тут, в тесном полуподвале, намечались маршруты, подгонялось оборудование, разучивались новые песни. Альпинизмом увлекались интеллектуалы — техническая интеллигенция в основном. Каждый поход в горы меня лечил от домашних бед месяца на два. Но потом начиналось обострение: я «заболевал», всё мне было немило, всё раздражало...

Рассказчик замолчал. Стемнело. Влажная озёрная свежесть всё больше забирала округу. Издалека, из города, доносились бухающие звуки дискотеки, истерические крики «Вау!».

— Утомил я тебя своими откровениями...

— Нет-нет, ты говори, говори, — Иван смиренно-деликатно чиркнул спичкой о коробок, закурил.

Павел машинально махнул рукой, отгоняя дым.

— Да... Не любил я её. Совсем! Веришь — жил как в клетке. Все слова, поступки Кати вызывали у меня протест. Истины её прописные, интересы приземлённые, лень вселенская (любила она поспать), хозяйство запущенное... Ну, думаю, это и есть жизнь. Буду терпеть. Все вокруг так живут (с вариациями, конечно). Есть и хуже. (А хуже всегда найдётся, потому можно себя оправдать.) Так, в великом терпении, и прожил я несколько лет — ни шатко ни валко.

И тут вдруг ударило меня. Не знаю, пожалела ли меня судьба или, напротив, наказать решила. Пришла ко мне любовь. Настоящая. Понял я это с первого взгляда. А я уже ничего не ждал, считал, что жизнь моя, весьма ординарная, кончена.

Встретились мы в «Перевале», в турклубе. Муж у неё — альпинист, и несколько лет назад, на лёгком

участке ледника на Приполярном Урале, не прицепил «кошки». Сорвался. Живой остался, но сильно побился. Спинальник, на колясочке. И с головой у него появились большие проблемы — полусумасшедший человек, в общем. Хорошо хоть сам себя обслуживает. А у них уже двое детей было...

Вот, похожие у нас истории — жили мы с нелюбимыми! Но как-то у Марины получалось, что у неё на всех тепла хватало: и на своего мужа, и на меня. А я — как Янус двуликий. Одно лицо у меня обращено к Марине — светлая сторона луны — всегда счастье, праздник, а тёмная сущность на Катю смотрит — раздражённо и недовольно. Хотя, впрочем, легче я стал к жене относиться — не до неё стало, утешилось, наконец, моё сердце. Впервые рядом со мной появилась женщина-друг, женщина-советчик. Человек, которому я мог абсолютно довериться и знал, что меня поймут. И простят. Но хотелось мне перед любимой лучшим боком повернуться, лучше, чем есть, казаться. Она, наверное, всё это понимала. Но любила меня и слабость эту прощала.

Теперь, когда пришла любовь, я готов был в любой миг развестись. Готов был бросить семью, не раздумывая, — появилась у меня, наконец, настоящая, безусловная ценность в жизни. Но Марина сказала мне: «Любовь любовью, а Серёжу я не оставлю. У него, кроме меня, никого нет».

Вот так! Ну можно ли было такую женщину не любить?!.. А я ведь Катю мою фактически бросил. Нет, всё внешне было как прежде. Но душой, всеми думами я был с Мариной. Весь от счастья светился. Великодушный стал, щедрый. Не ходил — летал. Ну, победитель! А их — не судят. Им — покоряются. Любовь настоящая, она всё вокруг себя сжигает. Не может она быть в обложке из лжи. Это как ядерный реактор. Посторонние, те, кто не «в курсе», запросто могут лучевую болезнь получить.

А Катя моя будто сжалась вся. Ушла в себя. В переживания. Никаких сцен ревности, скандалов мне не устраивала. Отдалилась. А тут ещё Денис у нас в нехорошую историю попал. Связался с дурной компанией. Ребята там, похоже, наркотиками баловались, травкой. После первого привода в милицию я спохватился: сына теряю! Тут уж совсем не до Кати. (Авторитетом никаким она у сына не пользовалась — ну, он же чувствовал моё отношение к ней.) С Мариной же обсуждали, что делать, как его от улицы отвратить. Я его хитростью, уговором и почти силой затащил в альпинизм. Да, не лучший, наверное, выход (горы — тот же наркотик), но что было делать?! Либо горы, либо тюрьма — такой получался выбор.

Три года я за Дениса бился — изо дня в день. Каждую свободную минуту — с ним. Если бы не Марина, упустил бы я сына. С ней во всём советовался. Так сложилась у нас виртуальная, неведомая

миру семья: я, Денис, Марина, две её дочери и даже Сергей—где-то на периферии нашего внимания, разговоров. Только Кате в этой «общности» места не находилось. Совсем она из моей души ушла. Мы как сожителю в одной квартире существовали. Тем более что решение моё—Дениса альпинизмом занять—она не приняла. На этой почве ругались мы жёстко. Конечно, здоровьица, «физику» у парня маловато. Но всё равно—более-менее укрепил я его, отбил от компании, новые друзья у него появились.

Трудно было тогда с Денисом, а всё равно я жил и знал, что счастлив как никогда. Много у меня стало само собой получаться—и на работе, и в спорте. Походы категоричные, новые вершины... Ты стоишь, а внизу в сизой дымке—изломанная линия хребта, другие горы, далёкие, до горизонта, красота—неземная, все оттенки синего, белого, серого, голубого, и ты понимаешь, как ты, в сущности, ничтожен и в то же время—велик... И я в этих «высоких материях» парил, почти не спускался на землю.

Однажды дома я взглянул на Катю и ужаснулся: как же она изменилась! Вместо весёлой девчушки—огромная бабища с тумбообразными ногами, с глазами заплывшими. И тут мне стало доходить: Боже мой, это ведь со мной она стала такой! Отдавали-то за меня замуж симпатичную, наивную простушку, а в кого она рядом со мной превратилась?! Как же я мог?! Совесть во мне заговорила наконец. Но было уже поздно.

Примерно через месяц увезли её прямо с почты, с работы, на скорой. Был апрель. У нас планировалось восхождение на Алтае. Врачи сначала сказали: ничего страшного, скачок давления. А Марина мне говорит: «Паша, откажись от маршрута. Ты здесь нужнее будешь».

Она, как всегда, права оказалась. День, другой, анализы, обследования... И выясняется, что у Кати—редкая сердечно-сосудистая болезнь. Это всё длинно называется—диагноз на полстраницы. Суть в том, что главные магистральные сосуды медленно, но верно и неотвратно сужаются, душат человека изнутри. И сделать ничего нельзя. Медицина бессильна. Прогноз самый трагический. Это в сорок-то лет!

Я не скажу, что меня эта весть потрясла. Меня это просто перевернуло всего. Я бегал по врачам, по светилам, всех поднял, кого мог, везде кидался, спрашивал: что можно сделать? Как спасти? Может, за границей? Операцию какую? А главное: как появилась у Кати эта болезнь? Почему у неё, а не, допустим, у меня? Ну, все только плечами пожимали. Один профессор мне сказал: «Если бы мы знали точные причины, мы бы за это Нобелевскую премию получили».

А я бегал-то для самоуспокоения! В глубине души я знал: все болезни от нелюбви. И когда

я представил, что Катя умрёт,—а до этого она всю жизнь со мной, идиотом, промучилась!—я... тогда я пошёл в церковь. Потому что всё, некуда больше было идти. На все свои теории и научные представления наплевал. Шёл как на казнь. И всё уже вперёд знал. А всё равно в чудо хотелось верить. Молился как мог, своими словами (ни одной молитвы не знал). Молился до полного изнеможения. Но и тут—смалодушничал. Хотел дать обет Богу, что брошу альпинизм, если Катя выздоровеет, но не решился. Молился, обошёл все храмы в округе. Больница и церковь—такой был маршрут.

Умерла Катя в Пасхальную неделю. На Пасху по палатам батюшка ходил, благословлял больных, желал выздоровления, кулич, яйца крашеные... Девочки в белых платьицах из воскресной школы пели: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...» А Катя уже не вставала. У меня и тут не хватило духа попросить у неё за всё прощения: боялся я, что вдруг она поймёт, что умирает, или подумает, будто я в её выздоровление не верю... Я, наоборот, бодрил её, старался угодить во всё. Потом выходил в туалет и рыдал в голос. Истерически. По её земной погубленной жизни рыдал. И по своей загробной—погубленной. Потому что знал: это не Катя умирает, Катя что—безгрешная, простая, нетребовательная душа, это я на вороных в ад мчусь. И никаких оправданий я себе не находил.

Потому что преступление моё—жизнь без любви и доведение человека до смерти через это—ужасно. Вот, допустим, пьяный водитель сбил пешехода насмерть. Грех, конечно, страшный. Небрежение, распущенность. Хотя он тоже, как и я, трагического конца не желал. Но этот пьяница никого не мучил годами...

Думаю я о Кате теперь постоянно. Мечтаю: вот, попался бы ей какой-нибудь алкаш, она бы давно ушла от него и жила бы сейчас припеваючи. А так...

В общем, потерял я покой. Себя потерял. Вся моя прошлая жизнь—чёрное пятно. Дыра. Отчаяние страшное. Я бы, наверное, давно удавился, если бы не Марина. Это единственное, что меня держит в жизни. Нет, не могу я от любви её отречься, обидеть её. Разлюбить тоже не смогу. Но чувствую: в чём-то у оказался её недостаток. Не хватило мне великодушия, щедрости. Силенок не хватило, мужества. Да много ещё чего... А она меня ни разу не упрекнула. Никогда, ни в чём. Я думаю: такому гаду, как я,—и такая любовь?! А Кате моей? Почему же так мало ей счастья досталось?!

Мучает меня чувство вины. И я не знаю: изживать ли мне его, заслонять житейскими заботами (их много, и есть важные—Денис постоянно требует внимания, контроля), или это будет трусостью, бегством от своей вины, а значит, многократно умножит мой грех?



Среди родственников Кати мне легче—на многое они смотрят проще, естественней, без иллюзий. А я... Особенно вечерами тяжело. Страшно мне стало оставаться одному—лицом к лицу со своей виной. Сердце моё, наверное, после всего пережитого добрей стало. Но какой ценой!

Ничего мне не мило, боль страшная. Зайду в церковь, вроде уже и решусь исповедоваться—а нет сил. Как про это расскажешь в нескольких словах?! Тут целый день нужен. А если всё расскажу, такому греху, наверное, и прощения нет... Страшно...

...Павел выговорился, устало и опустошённо замолчал. Он ещё и ещё раз пережил то, что так мучило его в последний год, а всё же ему кажется, что привычной тяжести на душе стало чуть меньше... — Да... История...—Иван водит рукой по поленице, скользит пальцами по неровностям.—Долго тебя бес водил. (Не к ночи будут эти поганые твари помянуты.) Я б тебе, конечно, сказал, что твой грех по сравнению с моими—чепуха, но... Ты вот что... Отцу Феофилу я за тебя словечко замолвлю. Может, поговорит с тобой. Ты не думай, он—добрый. Ангельского чина. Как возгласит: «Мир всем!»—на литургии, у меня аж дрожь по телу... Сколько ж сюда люди грязи своей человеческой привозят?!—Иван закурил, затянулся, закашлялся.—Надо бросать, так и до рачка докурюсь... Как Господь нас, таких грешников, на земле держит, за что?! Пути неисповедимые... А я тебе так скажу: не веришь в прощение—не верь. Но и не усугубляй. Это тоже грех—лишку на себя наговаривать. А в Господа—верь. И молись. И всё по твоему помыслу устроится. Господь наставит. А теперь—пора ко сну отходить. Поскорбели—и хватит...

## Святые Ключи

Молчанов жил в городе, но жизнь его в последний год была что тёмный лес. С каждым днём он убеждался, что заблудился окончательно, чаща сгущается и просвета—не видать. Но самое поразительное было в том, что почти никто этого трагического состояния Молчанова не замечал и не понимал. Некоторые даже завидовали. А что? Молодой художник, с набирающим силу именем. Не без способностей. Честный. Не бомж и не пьяница.

...А внутри у него давно уже жила пуста. Он и не заметил, как она пришла, поселилась, ясно определилась с местом пребывания. Да, всё было хорошо, удачно в последние два-три года. Жанровые картинки Молчанова, пейзажи, простые и лаконичные, находили поклонников и какой-никакой сбыт; портрет «Девушка у окна» купил музей живописи, по рекомендации старика Копосова в его крошечную мастерскую приходили люди из Третьяковки, оценивающе смотрели, горячо хвалили его «Георгины», «Крестьянский обед»...

Сам же Молчанов становился всё угрюмее. Теперь у него были лучшие краски, самые прочные холсты и дорогие лаки, импортные мольберты—всё, о чём может мечтать художник-профессионал. Под мастерскую он купил двухкомнатную «хрущобу», убрал разделяющую стенку, так что места, по его скромным замыслам, хватало. Это не то, как он мучился раньше—на кухне и даже в ванной, при электрическом свете. Теперь условия для работы были созданы. Не было только одного—желания работать. Всё, за что бы ни брался Молчанов, кончалось несколькими штрихами, наброском, в лучшем случае—этюдом. Ему абсолютно не хотелось писать. С каждым днём он погружался в жиму рутины; время шло, сначала он не тревожился: «А, устал»,—потом стал прислушиваться к себе, зорче присматриваться к жизни—натренированный взгляд художника легко ловил деталь, отмечал цвет; но дальше дело не шло—рабочее состояние не приходило; он включал волю, запырился в мастерской без еды и питья, удалял все раздражители—телевизор, радио, газеты, но всё было тщетно. Молчанов клял себя, называл дураком, лентяем, бездарью, с горя зашёл даже в церковь,—нет, как отрезало. Он чувствовал, что перестает быть художником, но даже отчаянье его по этому поводу было слабосильным, без должной страсти. Чувство ушло. Хоть режь, хоть плачь! Но, опять-таки, и плакать не хотелось! Совесть его была почти спокойна. Не терзало, но тревожило вот это «почти». Определённо, что в жизни человеческой был заложен какой-то смысл, и в жизни, в существовании Андрея Молчанова тоже; и смысл этот почему-то представлялся ему просекой в лесу или тропинкой, где, по крайней мере, на двадцать шагов ясен путь; так иногда ему чудилось; и понятно было, что сейчас он эту тропу потерял, сбился, забрался в дебри, и неясно, как теперь выбраться на твёрдый путь, спастись. Молчанов не помнил, и сколько бы ни оглядывался назад, не мог понять причин «сбоя»: никакого глобального, большого греха или предательства он за собой не чувствовал; ведь сравнительное (с другими художниками) благополучие—ну неужто это причина? Неужели, чтобы творить, нужно непременно валяться под забором? И, может быть, Молчанов как-нибудь успокоился бы, махнул рукой на все эти блужданья в сумраке смыслов, если бы не воспоминание о том, какое счастливое состояние наступает, когда работа «идёт», как радуется он несколько дней законченной картине; и, наконец, возвращаясь к своим старым работам, в чём-то наивным, бесхитростным, он невольно любовался чистотой красок, замысла и думал о том, как хорошо, должно быть, постороннему, совсем чужому человеку от случайной встречи с его трудом. Увы, теперь он не мог похвастаться новыми работами. И, в общем, это было ужасно.

В конце концов он понял, что одному ему не выкарабкаться, и двинул за советом к старику Копосову. Деду шёл восемьдесят седьмой год, но на творческие кризисы он не жаловался. С первых проталин марта до плотного снега сидел он на своей убогой дачке, в летнем домике-завалюшке, и едва ему позволяло самочувствие—работал, работал... Писал всё, что попадётся под руку,—глиняные кувшины с трещинами по горлу на дощатом щелястом столе, ржавое корыто с овощами—перец, помидоры, «синенькие»—всё вперемежку—близ засохшего дерева; заросли крапивы в малиннике; огородик с редко посаженным картофелем, куда заползала гигантская плеть с желтеющим тыквенным телом; полную продавщицу Машу, обнажённо-лежащую под яблоней; ромашки в литровой банке на перильцах старого дома... Всё—просто, бесхитростно, и всё имело право на существование, и никаких творческих мук: живи и работай; картины деда Копосова были написаны уверенной рукой. Талант есть вера. Молчанов же эту веру потерял. Сбился с азимута.

Он ехал к деду на электричке; стоял июль, в вагонных окнах мелькали летние наряды Подмосковья—ёлки с новыми шишками, берёзовые платья; пёрли в рост пустотелые стебли борщевика. Молчанов пожалел, что уже прошло пол-года—и всё это время он просидел среди зловоний города; хорошо хоть дожди скрашивали этот искусственно созданный ад. А всё потому, что зарабатывал деньги для «художественной» свободы, это были халтуры и халтурки по офисному дизайну. Клиент шёл один за другим, а жизнь так вообще бежала вприпрыжку—и в движении Молчанов понимал это особенно остро. Он ведь любил лето и в это время когда-то много, мучительно работал. Муки забылись, остались акварели, гуаши, точные, ироничные рисунки, а в этом году от Молчанова, пожалуй, ничего не останется. Надо было на что-то жить, есть и пить, носить модную одежду, а потом уже—всё остальное. А у деда Копосова—всё наоборот. Свободен от всего и всех, и рука—уверенная. Годы? А что годы, если за один месяц Копосов пишет больше, чем Молчанов за год? Конечно, не в количестве дело; но ведь у деда всё сделанное—живое, никакого маразма и западений. «Это у меня,—подумал Молчанов,—маразм. Молодёжный маразм—неспособность к чувству и творческой работе».

Усадьба деда была глухо, безнадёжно запущена, хотя он всегда хвастался: «У меня—идеальный порядок». Огородик, правда, был посажен, но у забора лежал сушняк, лебеда вдоль дорожки вымахала по пояс, в рябиновых ветвях радовалась хорошему дню птица—звонко, высоко. День был отчаянно жарок, безоблачен, пахло солнцем и уходящей жизнью. У домика, спиной к Молчанову, сидел незнакомый мужик, голый по пояс, с мясистыми

покатыми плечами, рисовал. Молчанов окликнул его, спросил Михаила Никаноровича.

— В хате,—мужик оказался бородат, хамоват, словоохотлив.—Вы кто? Откуда? Каким ветром к мэтру?—он далеко отклонился от работы и артистично прицелился кистью для мазка.

Копосов, впрочем, уж вышел из домика, стоял в кособоких дверях, вглядывался в нового гостя из-под руки. Они не видались год: старик стал ещё суше, меньше ростом, худее, одет был небрежно—какие-то сизые порты, линялая рубашка.— Андрюша приехал! А я тебя всё выглядываю,—старик обнял его. Был он небрит, лёгок, как птица.— Ну, пойдём, пойдём.

Смущаясь, Молчанов протянул старику сумку с гостинцами. Копосов засопроотивлялся:

— Ну что ты?! У меня всё есть!

— Берите,—вдохнул Молчанов.

Каморка была тесно заставлена небольшими картинами, этюдами. Дед по очереди выставлял работы на грубый топчан, солнце сумрачно освещало убогое жилище—глиняный пол, чёрные завесы паутины в углах.

Художник пояснял:

— Далеко я нынче не хожу—ноги не те... Тихая речка в рассветный час. Домик мой, когда вишни цвели. Внезапный снег: всё растаяло, и вдруг зима вернулась. Мальчик соседский, я ему лук помогал делать. Потом он стрелой чуть курицу не подбил. Кошка шпионит за ежиной семьёй—у меня ведь ежи живут под дровами, я тебе говорил? Сирень традиционная—её у меня иностранцы хорошо берут. Луг, копёшки первого сена. Удались, правда? Маша мне немного попозировала. Тут она ещё подругу свою приводила, но что-то у меня не пошло: всё при ней, а писать неохота. Бывает. Автопортрет у дерева,—себе Копосов, конечно, немного польстил, подмолдовал.— Натюрморт с кабачками—бутылка с маслом, мука, чеснок... И снова речка, лодка, ряска у берега—летний полдень.

Молчанов не мог оторваться от воды—она была написана так живо, что хотелось войти в неё, ступить в прохладу.

Дед давно уже не нуждался в комплиментах, знал себе цену, но Молчанов не удержался:

— Здрóрово!

— А ты?

— А,—Молчанов махнул рукой.—Потом,—ему вдруг расхотелось плакаться.—Кто это у вас во дворе?

Дед поугрюмел:

— Ученик бывший. Наезжает из Москвы за натурой.

Сидели в тишине. С дедом хорошо думалось. Молчанов смотрел на работы, расставленные в два-три этажа, аккуратно зарамленные; кое-где, конечно, была видна небрежность старости—глаз

ведь уже не тот, но, в общем, какова силушка—и без всякой натуги! А тут—он вспомнил свои жалкие метания—долбишь-долбишь этуодик, бросишь, разуверившись в его нужности. Молчанов знал, что настоящая работа тянет из человека жилы, тратит душу, нервную энергию; будто изнутри разматывается неведомая нить, одно неосторожное движение—и можно распрощаться с замыслом: нитка лопнула, истончилась, порвалась. «Катушка» внутри Молчанова давно уж вращалась впустую, вхолостую, и как бы он ни бередил, ни тряс себя, «нить» не рождалась, не шла, не ложилась узором на картину, не давала рисунку точности, убористости, дерзости. А Копосов что? Он работал, пока не уставала рука, и ни о какой «нити», поди, и не догадывался, не рассуждал. Так здоровый человек никогда не поймёт терзаний инвалида; конечно, посочувствует вполне искренне, но разве ощутит до конца: хочешь побежать, а ног—нету? А слепые? Ну, те, которые от рождения,—ладно, им не с чем сравнивать. Но вот был мир, и вместо этого—тьма, оцупь. На лице Молчанова, помимо его воли, обозначилось страдание, вышли морщины.

— Ты чего такой, Андрюш? — заметил его состояние дед.

— Давление или ещё что, — уклонился Молчанов, — голова болит.

— У меня тоже, — охотно подхватил тему Копосов. — Три дня провалялся с радикулитом, на сквозняке продуло, а сегодня — да, неблагоприятный день. И в газетке я читал.

— А что читаете?

— Да «Советскую Россию». Мне сосед, милиционер, носит, так мы обсуждаем текущий политический курс.

— Дрянь курс, — равнодушно заметил Молчанов. Курс его сейчас совершенно не интересовал. — А картины — хорошие.

— Правда? — дед, жалкий в своём отшельническом тряпье, взглянул на него строго. — На молодёжный вкус?

— На любой, — Молчанов поднялся.

Вышли на улицу. Сытый бородач довольно пошвистывал у мольберта.

— Как дела, мужики?

— Понемногу, — сдержанно ответил Молчанов.

— Хоть бы вы, молодой человек, повлияли на господина Копосова! Вчера они с местным милицейским старшиной чуть не составили тайный заговор.

— То есть? — Молчанов, погружённый в свои думы, не сразу понял бородач.

— Ну, Россия погибла, жида у власти, нами правит кукла, ха-ха! Мы же интеллигентные люди — и вдруг такие пещерные рассуждения!

Молчанов опешил.

— Вы знаете, не мне судить Михаила Никаноревича...

Он чувствовал, что говорит не то, что должно, у него было это качество — он всегда сначала пасовал перед чужим хамским натиском.

— Пойдём провожу, — дед обречённо, как от стихийного бедствия, отвернулся от бородач.

Дошли до калитки.

— А у власти-то жида, — тихо, но твёрдо сказал дед. — У главного жена еврейка, и сам он — из них.

В уголках его глаз дрожали слёзы обиды. Он был такой жалкий, старый. Встретиться он Молчанову где-нибудь в Москве, у метро, — не узнал бы, подумал — нищий.

— Ничего, ничего, — сказал Молчанов, обнимая старика. — Не обращайтесь на дурака внимания, — и он решился, пожаловался: — У меня что-то работа не идёт...

— А ты поедь, смени обстановку.

— Пробовал.

— Поедь, поедь, — не слушал его Копосов, — поедь, походи без оглядки, пока землю не продали. Я под Волховом чуть ногу не потерял. За что люди жизни отдавали?! При Сталине такого не было...

— Я ещё приеду, — пообещал Молчанов, не зная, когда он приедет, зачем...

Он отошёл, оглянулся — старик слабо ему махнул, потом оглянулся ещё, и ему стало нестерпимо больно — впервые по-настоящему — за своё бесплодие, бездарность; старик всё махал ему — маленький, сторбленный, на что-то в нём надеялся, а внутри у него пусто, всё сожжено, ни одной зелёной травинки, ничего живого; он зашпешил к повороту, ещё раз торопливо махнул и с облегчением свернул за угол. Теперь он шёл не спеша, думы у него пошли совершенно бытовые, короткие, он будто спешил истребить в себе память об этой встрече, забыть её. Нет, не летать синице жар-птицей! Для чего он родился на свет, было Молчанову совершенно неясно.

Но всё же он был, видимо, не до конца пропавшим человеком. Последним усилием воли Молчанов высвободил себе несколько дней и, собрав рюкзак, двинул на Ленинградский вокзал.

Он думал в поезде — ни много ни мало — о будущем человечества. Да, всё это мура — картины, когда есть фотоаппарат, плёнка цветная, объективы. Зачем тогда «ручная работа»? Художники вымрут как класс. Художественное творчество всё время двигалось по пути познания. Иконы. Парсуны. Портреты, жанр, пейзаж, натюрморт. Потом — гротеск. Потаённые стороны жизни. Ну и докатились до экскрементов. Нарисовали. Что дальше? Где здесь счастье?

Да, человечеству не нужны художники. Если есть действительность зримая, материальная и человек её копирует: стрекозы-вертолёты, гусеницы-танки, — то, наверное, существует и другая, невидимая действительность, которую человек тоже невольно копирует. Да-да, творчество — это

поход за завесу, в незнаемое, и если раньше, в юности, он легко туда попадал и даже не пытался рассказывать о том, что видел,—ему казалось, что все там бываю, — то теперь Молчанову туда нет никакого хода.

А впрочем, что за мура лезла ему в голову? Просто у одного есть способности, а у другого — пшик. У всех разный запас. Сколько народу было на его курсе в Суриковском — и где они? Все, конечно, что-то малюют от случая к случаю, но художники ли они? Он просто, как и многие, исчерпал свой бедный запас. Только у Евгеша Лагутина всё хорошо. Звонил: «Пишу кремлёвского повара. Представляешь, каких он клиентов потянет?!»

В отвратительном настроении он вышел из поезда на перрон. Долго стоял у станционного стекла, смотрел на своё отражение. «Дурак непутёвый», — подумал он. В это же самое время кто-то ухаживал за женщиной, кто-то глушил водку в родной компании, новый русский любовно укладывал долларовые пачки в дипломат, мужики сидели в сауне, завернувшись в простыни, а он бегал по свету — стыдно сказать за чем! Кому это нужно?! Он выпил бутылку тёплого пива — с отвращением, похрустел сухариками, походил — вперёд-назад, покачиваясь в такт оттягивающему плечи рюкзаку. Был он высок, худ, жилист. А станция была равнодушна, пыльна и обыденна. Вокзальные торговки, всполошённые прибытием поезда, теперь рассаживались на лавках, пристраивая у ног короба с мороженым, ведра с кульками черники, подносы с копчёной рыбой — угрями и лещами. «Дурак», — ещё раз сожалеюще подытожил Молчанов.

И вот он уже шёл по приземистой улице, обычной русской пыльной улице обычного русского города, где он хотел что-то найти, понять, разбудить в себе. Городишко был мал, прост, и он шёл, пока не устал так, что тоска его чуть отступила. Он задержался на автобусной остановке, с горечью услышал звук проносающегося вдали поезда. Да, жизнь одна, и тратилась она неизвестно на что и неизвестно как.

Он ехал в автобусе вместе с женщинами, которые, судя по простоте одежды, собрались на дачи; по привычке он всматривался в лица — все они были изъедены жизнью, усталы, почти не украшены; каждая из женщин, наверное, думала о счастье, и оно приходило к ним в обыденности, и никто из них или их мужей не бежал в чужие города, чтобы что-то понять, найти... Молчанов вышел вместе со всеми на конечной, глупо, бесцельно затоптался.

— Вы на турбазу? — некрасивая костистая попутчица тронула его за рукав.

— Да, — он не стал её разубеждать.

— Вон за деревьями их здание, — она махнула рукой на белеющий сквозь зелень двухэтажный коробок.

Молчанов покорно поблагодарил, пошёл. Был он утомлён и растерян — дорога не принесла ему успокоения.

Кабинет начальника — открытый настежь, пустой — он нашёл сразу. Молчанов снял рюкзак, в нерешительности остановился. Где-то в конце коридора мелькнули пугливые женские глаза, раздался голоса, и, держась стены, из недр здания возник руководитель: «Громов В. Д.» — заботливо сообщила табличка.

Мужик был донельзя, безобразно пьян, до синевы губ, подёрнутых белым налётом.

— Мест нет, — еле ворочал он языком. — Завтра дети уезжают, будет полно. Вера, — закричал он, пытаясь овладеть непослушным голосом, — возьми постояльца!

Тотчас возникла черноволосая крупная женщина лет сорока, тоже, кажется, слегка навеселе, — всё ж она показалась Молчанову сущим спасением от Громова В. Д. — тот уже растопырил, широко поставил подрагивающие руки для объятий. — Я баба простая, — объясняла Вера, пьяно блестя глазами.

Они шли к ней на квартиру, условившись, что у Молчанова будет отдельная комната и полный покой.

— Видишь, Муська меня поцарапала, — вдоль носа у неё тянулись четыре ровные борозды. — У меня и собака есть, Зита.

Они поднялись на второй этаж блочного, в тряпье балконов, дома; Вера открыла дверь, собака — блёкло-оранжевая колли с тонкой мордой — несколько раз тявкнула на нового человека, затихла. — Проходи сюда.

В нос Молчанову ударил жесточайший запах кошачьей мочи и собачьего жилья, он чуть было не закашлялся и, стараясь глубоко не вдыхать, прошёл в полузаброшенную комнату, свалил рюкзак на пол, выбирая место почище.

— Там муж мой жил, — объясняла тем временем Вера. — А муж у меня помер недавно. Ему сорок шесть лет было. Тромб оторвался. Хороший мужик был. Слушай, — она возникла на пороге, — я баба простая. Давай чаю попьем?

— Нет-нет, — поспешно отказался Молчанов.

Ему тягостно было в пыльной тесной комнате со следами равнодушно давнего упадка: часы на стене показывали прошлогоднее или позапрошлогоднее время, секундная стрелка была наполовину отломана.

— Вы меня лучше по окрестностям проведите. Я слышал, здесь озеро есть, — печальная колли понимающе посмотрела на него из коридора. — Может, и собачку прогуляем?

— Потом, — беззаботно махнула Вера.

В разговорах о директоре-пьянице, о перестроенном упадке турбазы и красотах местной природы они вышли к озеру, к небольшому причалу.

Вода была спокойной, блестящей на середине, близкие берега чётко отражались, чуть поколебленные слабой рябью. Молчанов слушал и не слушал Веру.

— ... Я вот что тебе скажу: мучает меня тоска. Так я ночью телевизор смотрю или музыку слушаю. Потом засыпаю. Когда Танюша со мной была, то не так, а вот одна осталась—ну невыносимо,—по-дружески она делилась с Молчановым.—Мы воспитаны по-старому. Хочется каких-то возвышенных чувств, чтобы мужчины подарки дарили или цветы. А сейчас—ну ты же видел наших криворотых?—Молчанов качнул головой, вспоминая Громова В. Д.—действительно, рот от алкоголя у него слегка свело на бок,—норовят за бутылку с тобой, да ещё чтоб не они нам ставили, а мы... Мне найти мужика—не проблема. Проблема—путёвого найти. А ты женат?

— Да,—вдруг неожиданно для себя соврал Молчанов.

— И дети есть?

— Двое.

— А жена кем работает?

— Учительница,—он сочинял на ходу.—Литературу и русский язык преподаёт.

— Это хорошо, когда есть образование,—завдыхала Вера.—Я вон работаю кастеляншей, а всё потому, что по молодости нигде не выучилась, замуж бежала...

— Пройдусь я,—решительно встал Молчанов.

— Иди,—согласилась Вера.—Дорогу запомнил? Я на ночь не закрываюсь—ключи тебе не надо. Не закрываюсь,—хохотнула она,—дожидаюсь: может, зайдёт кто?!

Он широкими шагами зашел по тропинке вдоль берега, влево. Досада его душила: мало своих забот, так ещё Вера—с умершим мужем, собаками, кошками и мечтами о великой любви. «А дома—грязи по колено»,—раздражённо подумал он, вспоминая её запущенное жильё. Но близость воды его постепенно успокаивала, смягчала, отвлекала. Озеро было небольшим, но, по-видимому, глубоким—так ровно, уверенно, основательно лежала вода. Оно так и называлось—озеро Глубокое. А деревня, до которой Молчанов почти дошёл,—Глыбочиха. Он покатал это слово во рту, повторил несколько раз. Дело шло к вечеру, крыши давнишних, старых домишек, горбыльные заборчики, бревенчатые баньки у воды—всё окрасилось закатным светом. Длинные тени берегов легли на воду, резко потянуло свежестью. Молчанов зачерпнул воды, плеснул в лицо—приятная прохлада ласкала усталые глаза. У берега, у мостков—две широкие доски, старая женщина набрала в ведро воды, медленно поднималась от озера к дому. Он остро почувствовал свою неприкаянность, рассредоточенность: далеко сейчас были его мама, его дом, его друзья

и приятели—Молчанов считался компанейским малым, «человеком общественным», а он здесь—и никак не мог собраться, сжаться во что-то цельное, объяснимо-простое, определённое, как та же Вера, например. До поздней ночи, пока не стемнело, он ходил по берегу, весь в усталых мыслях, то садился у камышовых зарослей, то снова шёл, прислушиваясь к тихому шевелению трав, смотрел на воду, вздыхал, и когда в Глыбочихе погасло последнее жёлтое окно, побрёл к своему ночлегу.

Дверь, как Вера и обещала, была открыта; собака и кошка тоскливо, объединённые общей бедой, лежали в коридоре; из хозяйской комнаты слышалась музыка. Молчанов, стараясь быть бесшумным, юркнул к себе, заперся на шпингалет. Долго он не мог заснуть, прислушиваясь к шуму чужого дома; наконец, забылся. Снилось московская дребедень, Вера в лодке, копчёные угри... Сквозь забытьё он сначала слабо, а потом явно услышал bestолковый, частый лай собак с подвыванием. Вместе с лаем в нос ударила вчерашняя вонь, которая здесь, у открытого окна, была особенно невыносима. Наконец он понял: сна ему не видать,—вскочил, оделся, воровато собрал папку, этюдник, крадуциху, вышмыгнул на улицу.

Было светло, ясно, тихо, только птицы звенели в вышине высоких елей, берёз. Вода лежала белёсым спокойным одеялом, подёрнутая белым паром. И оттого, что было небо, песок, лес, озеро, птицы, и оттого, что всего этого когда-нибудь не будет, не станет, ему сделалось грустно, больно. Ну и зачем всё это?! Он вдруг понял людей-разрушителей. Им нестерпимо знать, что их не будет, а красота—останется. Потому реки нужно непременно превратить в сточные канавы, воздух—в смог, леса свести на пни, птиц—прогнать. Да, когда человек убьёт вокруг себя красоту, он успокоится. Планета будет выброшена, как зарубленная курица, недра—вынуты, леса—ошипаны. И тогда человек станет царём природы, создаст железные корабли и полетит к звёздам.

Да, природа вовсе не нуждалась в человеке. Без него чисты от пластиковых бутылок берега, спокойны леса, тиха вода. Он-то и создан, чтобы оценить красоту. Ахнуть и сохранить. Но не получается. Значит, что-то в человеке «поломано», «неправильно устроено», если красота в природе ему противна. Да что в природе! Она ему и в картине собственной покоя не даёт! Человек не успокоится, пока не добавит в чистоту природных красок какой-нибудь дряни. Вот теперь—хорошо!

Молчанов вошёл в озеро, тихо поплыл, бесшумно раздвигая воду. Потом решил—нырнул, зафыркал, заплескался, как сильная игривая рыба. Он плавал, пока не замёрз, давал работу рукам, ногам, лёгким, плавал, прощаясь; жаль было расставаться с озером, но у Веры он больше оставаться не мог. Он знал, что не вернётся сюда никогда.

Он открыл дверь Веринной квартиры и был потрясён произошедшими здесь переменами. Вера, принаряженная в льняное светлое платье, с придуренным носом, так что царапин было почти не видно, вышла его встречать. В коридоре, комнате сияла новейшая, влажная чистота; пахло домом, уютom; он скосил глаз—на кухонном столике, в тарелке, высилась гора пирогов. Он, поздоровавшись, прошёл в свою комнату—и здесь побывала заботливая рука хозяйки. Молчанов быстро собрал рюкзак.

— Вы знаете, Вера, я поеду. Я понял, что работа у меня тут не получится—ну чего время терять?..

Она виновато на него взглянула.

— Спасибо вам за приют. Не дали комарам меня съесть,—он протянул деньги.

— Ну что ж, что ж...—она совсем опустила голову, спрятала глаза.

Молчанову было её жаль, он хотел сказать что-то ободряющее и не смог; спортивно сбежал по лестнице, поспешил к остановке и почти на ходу успел впрыгнуть в автобус. Да, есть на свете озеро Глубокое, а на берегу живёт Вера-кастелянша. Вот тебе и «Девушка у окна»—он вспомнил свою картину, проданную музеем живописи,—натуру писал с Лены, двоюродной сестрёнки. А кому нужна правда о Веринном поцарапанном носе? Никому.

Автобус уже въехал в город, бултыхался на ухабах. Молчанов глядел в окно, думал, куда ему двинуться дальше. Возвращаться домой—глупо, да и не с чем; оставаться—негде, да и незачем. Он вдруг подумал: а не отправиться ли ему назад, в Глубокое, Вера будет рада,—но тут же себя одёрнул. Автобус шёл мимо двух- и трёхэтажных домов; видимо, это был центр городка, его «пик», судя по частоте вывесок и магазинов. Он вышел у гостиницы—неприсутливой кирпичной коробки, с единственными, очень узкими, дверями.

— Мест нет,—сказала недобрая молодая девушка-администратор, тщательно накрашенная, не допускающая даже мысли об улыбке.

Молчанов опешил: здание и внешне, и внутренне казалось совершенно пустым. Он в недоумении потоптался у стойки.

— Места-то есть,—подала голос пожилая женщина с открытым простым лицом,—у нас белья нет, вот мы всем и отказываем.

Под честное слово, что у него не будет претензий, Молчанова поселили. В номере были кровать, стол, ниша для одежды и раковина. В кране, как ни странно, наличествовала и горячая, и холодная вода, и ненужное это удобство Молчанова умилило. Он был один, свободен и, как ни странно, почти счастлив. Он переоделся, положил в карман рубашки деньги. Подумал было взять с собой краски—бросил. Если он ничего не пишет год, что может изменить один день?! Рассохшаяся дверь не закрывалась, да и замок, впрочем, был выворочен.

— Там я вещи бросил...—начал было излагать свою просьбу Молчанов.

Пожилая администраторша вязала носок из белой шерсти, готовилась к зиме.

— Иди, иди, милый, мы поглядим, сюда никто чужой не заходит.

«Вот так у человека появляется цель в жизни—купить простыню»,—иронически размышлял Молчанов. Он стал думать о том, что люди, как планеты вокруг Солнца, вращаются всю свою жизнь по определённой орбите, заданной им, скорее всего, с рождения. Но только вместо Солнца—смысл. И как ты ни бейся, ни трепыхайся, тебе не узереть, не осознать. Можно, конечно, «соскочить» с курса—пьяницы, наркоманы, душевнобольные. Он, наверное, уже сделал первый круг и теперь не решался двинуться дальше. Тема ему была неясна, из-за этого—неуверенность в себе, нежелание работать впустую. Видимо, то, главное, о чём он должен писать, заключалось в смысле жизни, которого он не знал, не мог постичь. И этот смысл находился, скорее всего, вне художественного творчества, в самой жизни. Но в чём он? В чём?

Он вошёл в магазин «Промтовары. Книги. Парфюмерия», поискал постельное бельё—его не было, как, впрочем, и нательного, кроме нескольких пар детских жёлтых трусов. Книжный отдел—он скользнул взглядом—обычный набор литературы: «Тёщины советы»—из полезного, «Рэкетир с острыми зубами»—из занимательного, «Тайны магии»—из душевспасительного. Он механически взял тощую краеведческую брошюрку, рассеянно её перелистнул. И вдруг натолкнулся на заголовок—«Святые Ключи»—и стал читать, бессознательно «фотографируя» текст.

«Это маленькое селение знаменито уникальным родником-провалом, глубину которого не могут точно измерить до сих пор. Воду из источника люди называют живой. Как попасть к Святым Ключам? Нужно доехать на электричке до Алёшинки, затем пройти к ближайшей деревне, далее, за её околицей, будет видна колокольня Пятницкой церкви. Вы пришли на Святые Ключи».

Времени—он взглянул на часы—было пять. Он выскочил из магазина и, наморщив лоб, поспешно зашагал, потом быстрее, наконец, побежал к вокзалу. Он верил в интуицию, в предчувствие, и зачем-то ему надо было тащиться в это селение, к святым якобы ключам.

Он купил билет до Алёшинки, электричка уехала через десять минут. Сел у окна. Жизнь его снова обрела смысл. Да, человек, как планета, вращается по орбите. Человек есть вообще планета. Есть ли жизнь на Марсе? Ничего там нет! И у него—совершенно пустая, голая планета. Значит, нужно её населить, чтобы она цвела и здравствовала. Он умрёт, и другие люди умрут, и даже,

возможно, наша Земля, а его планета будет жить. И всё на ней должно быть самым лучшим—воздух, деревья, цветы, звери. А с чего начиналась жизнь? С воды. Со святых ключей...

Мысли эти пронеслись в голове Молчанова быстро, он усмехнулся: «Всё, крышу рвёт». И тут же успокоил себя: «Да просто еду посмотреть достопримечательность. Всё равно делать нечего».

Вагон быстро заполнялся людьми. Напротив Молчанова сели две женщины, видимо подружки. Обе— в рабочей одежде, резиновых сапогах, с пластиковыми ведёрками в руках. Та, что побойчей, Света, громко рассказывала:

— Встретила Юльку Бутову. Нарядная такая, не то что мы, фроси,—она фыркнула, стрельнув глазами в Молчанова.— Нарядная, на шпильках, несёт в руках крышку от унитаза. Фиолетовую,—рассказчица расхохоталась.— Представляешь? Фиолетовая крышка. Купила, говорит. А я ей: да ты в пакет положи, чего ты с ней ходишь по всему городу? А она: хочу и хожу, не твоё, Светка, дело! Обиделась,— и рассказчица состроила такую уморительную рожицу, что Молчанов не выдержал, улыбнулся.

Подруга негромко о чём-то её спросила.

— Ой, ягод полно! Люди едут и едут, назад пустой никто не возвращается. А вчера чё-то ходила по лесу, и так жутко стало! Мне Кузьмич рассказывал: медведи, они катаются по поляне, а потом языком ягоду слизывают. Я глянула вчера: вся поляна укатана. Ну, так мне показалось. Я как дёрнула оттуда...

Молчанов слушал их разговор, смотрел в окно, поглядывал в вагон, заполненный людьми с рюкзаками, лукошками, ведрами; лица пассажиров были просты, усталы, печальны. «А есть ли я на свете?—вдруг подумал Молчанов.— Может, меня нет и никогда не было, а всё лишь длинный сон с продолжением, и сам я кому-то снюсь?..» А Светка теперь рассказывала, поглядывая на него, то есть отчасти и для него, как Зинке упала на голову антресоль со «стенки», а она, вместо того чтобы ехать в больницу, схватила велосипед— и на работу, и там уже ей стало плохо...

— ...Представляешь, у неё сотрясение мозга, крыша едет, а она бралась поездами управлять.

...Он шёл уж второй час по затверженному в уме плану, давно уж миновал пристанционную, длинную, вытянутую рукавом, деревню; дорога становилась безлюдной, одинокой, бесились слепни и оводы— он обмахивался сломанной ольховой веткой; и никакой церковной колокольни не было и в помине. И раз, и два он хотел вернуться, опасаясь опоздать на последнюю электричку, но потом всё шёл, шёл... Дорога, окружённая низкорослым лесом, были извилиста, и за каждым поворотом открывался новый, и конца и краю этому пути не было видно. Он шёл, уворачиваясь от слепней, оберегая глаза. Раз, на пригорке, он оглянулся.

И ахнул— позади, среди деревьев, виднелся крест колокольни. Обрадованный, он кинулся назад, свернул на едва приметную тропинку и теперь уже ясно видел обдранную, полуразрушенную церковь с пробитым жестяным куполом. Он зашпешил, миновав несколько брошенных чёрных избушек с пустыми окнами— бурьян во дворе делал их хилыми, приземистыми. Наконец, тяжело дыша, он добрался до церкви. Двери были закрыты на чепок, для верности подпёрты берёзовой чуркой. Молчанов обошёл церковь, подумав, что давно уж тут никто не молился— у стены дыбились две могильные плиты, вывороченные со своих мест; сама церковь, ободранная здесь и там, краснела кирпичом— как будто с тела была содрана кожа и теперь были видны мышцы, мясо.

Он обошёл церковь раз, потом другой, осматриваясь,— родника нигде не было, и луг перед церковью, кочковатый, с порыжело-зелёной травой, был пуст.

Молчанов вдруг понял, что шёл зря. Всё давно пересохло. И ничего удивительного тут не было. Моря мелели, реки меняли русла, а тут—какой-то родник! Он растерянно стоял среди луга, среди мёртвой деревни, у давно не знавшей людей церкви. Но что-то, какая-то сила толкнула его к зарослям кустарника. И, подходя, он радостно почувствовал неожиданную мягкость, пружинистость почвы, напитанной водой.

Да, это были святые ключи! Молчанов встал на колени и замер, очарованный. Тихая глубина, до которой не добраться, не досмотреться, и пульс воды, её ток, кровь земли. Воронка—метра два в диаметре— была рыжеватой от накипи железа, а в глубине источника мерцали, загорались и гасли голубовато-зелёные искорки.

Он бережно зачерпнул горстью воду, отпил. Потом ещё, ещё. Вода была холодная, сдержанно-стального вкуса и очень сильная, живая. Он смочил водой глаза, уши, шею. Закрыв глаза. В воображении легко возник, закачался, замерцал родник. Он не ощутил в себе никакой перемены. Он просто стал другим. Пусть на минуту, на две. Но совсем другим.

Обратно ему шлось легко, широко и как-то бездумно. В пристанционной деревне он смотрел на белоголовых детей—мальчиков и девочек, синеглазых, тонких, играющих в свои сложные, понятные только им игры. На станции Алёшинки он ждал ещё час, улыбаясь сам себе и вспоминая свой поход. Поодаль от станционного здания был колодец. Молчанов подошёл, открыл крышку. Ведра не было. В ближнем доме колыхнулась занавеска, показалось старушечье лицо. Молчанов подождал. Бабушка в длинной белой рубахе вышла на крыльцо, слабо спросила: — Что тебе, добрый человек? — Воды...

Она принесла новенькое оцинкованное ведро. Легко вращая ворот, из дальних-дальних глубин он вытаскивал воду. Ведро серебрилось. Он сделал глоток, два—вода была не такая торжественная, как в ключе, но зато ломко-сладкая, мягкая, так что он вдруг не смог сдержать слёз. Он пил и пил, чтобы спрятать их, а слёзы бесследно исчезали в ведре, не давая горечи.

— Спасибо, бабушка. Хорошая ваша вода.

— Хорошая, да. Мы её зовём— доброй. Ты запомни, сынок,— доброй.

Старушка взялась за дужку ведра. Молчанов поднял голову. Очи на бабушкином лице были глубокие, иконные, и он поразился их печали, спокойствию.

— Гляди,— сказала она,— люди бегают, бегают... А чего бегают? У нас тут богач, купец жил, тряпки из Турции возил. Уехал он совсем. А позавчера вижу—хтось возле колодца топчется, вроде тебя. Я с ведёрком сюда. А это Мишка наш. Невесёлый, постарел. И выпивши. «Я,— говорит,— весь мир объехал и вернулся, а ты, баб Гань, какая была, такая и есть. А я чё-то потерялся». И заплакал. А я ему: «Миш, ды ты попей, попей водички, оно и отляжет». Ничего, говорит, не отляжет... Он-то, Мишка, жалостливый рос, всё с дитяими соседскими возился. А вишь, в купцы пошёл...

Молчанов вернулся в гостиницу, застелил подушку чистой футболкой, лёг. На душе было так одиноко и так больно! Отчего это всё происходило с ним?! Он не знал... Сердце щемило—в предчувствии ещё большей печали и одиночества. Он почему-то представлялся себе воином перед битвой, победы в которой—не видать... И Молчанов крутился, крутился на скрипучей пружинной кровати, переворачивался со спины на бок, но пытаясь унять свою боль, то пугаясь, что она уйдёт. Надо было жить для главного, каждый день, жить сосредоточенно, держа главное в сердце. И он это понял и теперь боялся, что будущие минуты и дни заслонят его открытие суетой и заботами. Надо было жить как Вера у озера, как бабушка у колодца, как ключи у церкви—жить, забыв себя и своё принуждение к этой жизни. Он не верил в себя, не верил, что сможет *так* жить, хотя время у него ещё было...

### Судьбой назначенный

Когда отцветающая сирень пахнет польнюю, когда липы на бульварах смыкаются кронами, а дорожки парка «Динамо» на ладонь заметены тополиным пухом, тогда они и встретились.

Саша Темников спешил с вокзала домой. В «парадке», в накремённых ботинках, с чёрным кожаным дипломатом, который он то и дело перекладывал из руки в руку. Чувства сплелись в клубок: надежда, боль, ожидание, тревога. Какой стала теперь Лена? Что они скажут друг другу?

Она увидела солдата издали, и, хотя знала, что это не мог быть Саша—ему служить ещё две недели, сердце её, тревожно ёкнув, вдруг забило лихорадочно, быстро. Лена шла к свекрови, несла свадебные фото. Снимками она осталась недовольна, хотя Олейчук позвал во Дворец бракосочетаний лучшего мастера в городе.

Да, прекрасно вышли платье, пелерина, фата и розы, отлично сидел костюм на женихе, а уж галстук она завязала ему узлом, который подсмотрела в иностранных журналах. Респектабельны и солидны гости, торжественно-значительна дама, что их регистрировала. Здорово был пойман момент обмена кольцами. Бокалы с пузырьками шампанского, традиционный торжественно-церемонный поцелуй.

Лена замечательно красива на свадебных фото, а Олейчук смотрелся барином, денди. Но всё же ей казалось, что у неё неуверенный, виноватый вид, а Эдик, напротив, слишком самодовольный, победительный.

«Нет, не Саша»,— успокоилась она. Солдат был чуть выше ростом, чуть тоньше в талии, чуть шире в плечах. Он шёл чётким, уверенным шагом. Вот она уже различает черты лица...

«Саша!»

Она замерла, не в силах пошевелиться.

«Как могло так совпасть?!»

Досада, стыд, жалость к себе, жалость к нему, страх (вдруг кто-то из знакомых увидит!), ужас, смятение—она стояла, прижав сумочку с фотографиями к груди, будто боялась, что их отнимут.

Сотни, тысячи раз он потом возвращался к мигу их встречи. И удивлялся внезапной зоркости, которая вдруг посетила его. Он увидел будто бы всё сразу—и настоящее, и прошлое. Саша мгновенно, будто владел чудо-фотоаппаратом, запечатлел и её растерянность, и тонкое обрубальное колечко, и припухшее лицо, и полные груди, к которым она прижимала дурацкую бело-серую сумку (из неё торчал большой плотный конверт), и чуть раздавшееся вширь тело, и непривычно, слишком «по-женски» подведённые глаза, и её новую блузку с легкомысленными воланами, и юбку-колокольчик (голубую), и босоножки—простые, белые. Он остро ощутил её чуждость, отстранённость. И смутное видение мелькнуло в сознании: невнятная, согбенная фигурка воришки, крадущегося вдоль глухой стены.

«Она будет несчастлива».

Он будто читал книгу жизни, видел страницу с уже предначертанной судьбой.

Всё, что он так тщательно готовил для решающего разговора, теперь не годилось.

«Как же так, Лена?»

Она увидела вопрос в его глазах. Это был не упрёк, не сожаление, не гнев, не отчаяние. Изумление! Она словно оказалась перед всевидящим



судийё и с ужасом почувствовала, как что-то надломилось в мире, изменилось, треснуло, что ход её жизни нехорошо повернулся.

Ответить было нечего. И тогда она поспешила переложить вину на него. Она — изменница, но виноват — он!

Два года назад, когда Сашу забирали в армию после первого курса института, да, она обещала ждать, сидела рядом на проводах, смущаясь пристальными взглядами его родителей, родни. И очень долго Лена аккуратно писала письма, прилежно училась, даже в кино выбиралась нехотя.

А жизнь, единственная, проходила мимо!..

Саше тоже досталось: он попал в Афганистан выполнять «интернациональный долг». Но при чём тут Лена?!.. Саше просто не повезло.

Шли месяцы. Их поцелуи, мечты, всё, что было прежде дорого, уплывало в туман прошлого, в дымку неопределённости.

Зато Олейчук стал реальностью. Если ему что-то нравилось, Эдик брал, не спрашивая, не рассуждая, сминая сопротивление, и считал, что так и должно. Может, она тоже желала решительности разбитного старшекурсника?! А ещё — шикарных букетов, щедрых подарков, походов в дорогие рестораны. Хотя... Не в этом дело! Просто ей стало жаль своей молодой жизни. Надоело сидеть взаперти непонятно ради чего.

Весь рой доказательств, оправданий, раскладов, объяснений вихрем пронёсся в её сознании. И всё получалось логично, когда она прежде рассуждала сама с собой («Ах, нехорошо всё-таки с Сашей вышло!») — об этом она тоже думала и морщилась от неловкости; но теперь, когда они так неожиданно-негаданно столкнулись («будто подстроил кто!»), все аргументы рушились. Перед ней стоял не скромный юноша с чистыми, акварельными чертами лица, которого она помнила, а молодой мужчина, собранный, требовательный. Глаза его, большие, страдающие, смотрели на неё с изумлённым, будто бы даже прощающим сочувствием.

И вдруг всё, что так радовало, что доставляло столько волнений — упоение страстью, свадьба, крики «Горько!», привязанность к Олейчуку, — всё показалось чужим, ошибочным.

«Зачем я за него вышла?!..»

Ощущение ужасной беды на миг захватило Лену. Плечи её опустились.

Она ждала, что Саша что-то скажет, и тогда, как за соломинку, она ухватится за любые его слова и — спасётся, «выплывет».

Саша молчал.

Ничего нельзя было изменить!

Он ещё раз внимательно и долго посмотрел в её лицо. Нет, он не мог в ней ошибиться! Это всё равно что ошибиться в самом себе! Точно так, как тайфун, ураган, пожар или песчаная буря ударяют

по налаженной жизни, так и в их отношения вторглось что-то роковое, ужасное.

«А как же любовь?»

Кончики его больших чувственных губ дрогнули. В горле пересохло.

«Только бы не оглянуться! Только бы не оглянуться!»

Он шагал прямо, механически, холодный пот катился из-под фуражки. Он чувствовал, как взмокла спина под кителем.

«Прощай, прощай», — в висках стучали вразнобой молоточки.

Она долго смотрела ему вслед.

«Надо бы ему что-то сказать... Хотя бы извиниться, что ли...»

Может, и хорошо, что они сразу встретились! Ничего не надо объяснять. А жить надо — легко. У Эдика всегда всё в ажуре.

«Трезвость — норма жизни» — гласил плакат на гастрономе. Улыбчивые рабочий и работница, одетые в комбинезоны, стояли у станка и, наверное, лидировали в социалистическом соревновании.

У Саши в дипломате были две бутылки «Пшеничной» — дефицитный товар в пору антиалкогольной компании. В укромном местечке, за магазином, он выпил полбутылки. Потом ещё. Хмель не брал, волны ожесточения поднимались в нём и тяжело падали. Сердце кричало.

Он допил натошак бутылку и, наверное, разрыдался бы от жалости к себе, если бы не два «колдыря», вынырнувшие из-за кустов. Мужики искали чем полечиться. Он отдал им без сожаления вторую бутылку и, качаясь от горя, побрёл домой.

Когда Лена перестала отвечать, он сразу заподозрил неладное. Пометавшись несколько дней в неведении, он написал старосте их группы, общественной хохлушке по прозвищу Галя-всё-знает. В письме аккуратно спрашивал: не случилось ли что с Леной? Не заболела ли она?

Староста мгновенно внесла ясность. Галя-всё-знает рубила с плеча: «Темников, невеста твоя сбежала к другому и собирается замуж. Не жалея, всё к лучшему — не ты первый, не ты последний. Перестань бомбить Назарову письмами, она их даже не читает. Деканат тебя ждёт, возвращайся. Будь мужичиной. Не кукуйся!»

Нет, он не верил, что такое возможно. «Лена дожидься меня приму любое твоё решение люблю тебя всегда», — Темников отправил из Термеза срочную телеграмму.

Он демобилизовался раньше (в счёт отпуска) и, пока добирался на перекладных до родного города, много раз представлял себе их встречу, объяснение. Проигрывал разные варианты: от спасительного до катастрофического. Но всё оказалось проще, обыденней.

На следующий день Саша не сразу понял, где он: узкая мягкая тахта, стеллажи с книгами во всю стену, пение птицы, тополь тянёт ветку в открытое окно. Дома! Какое же счастье—быть дома!

Но тут же он вспомнил вчерашнюю встречу с Леной и, чтобы сдержать стон боли, закусил край наволочки. Жгучие слёзы побежали по щекам.

Мужчины не плачут?.. Тело его сотрясилось от рыданий. «Боженька, я не смогу без неё жить!»

Сознание рвалось. Тошнота подкатывала цунами. «Смерть, лучше смерть»,—просила она. Боль была невыносима.

Над пациенткой склонился хирург—в шапочке, очках, маске, раздвинул ей пальцами веки, чтобы увидеть мутный огромный зрачок.

Ассистент скороговоркой докладывал:—Елена Антоновна Олейчук, тридцать лет, группа крови—вторая положительная. В результате ДТП—резаные раны лица и кистей рук, переломы костей лицевого черепа, перелом левой ключицы со смещением, перелом пятого и шестого ребра справа, закрытый перелом бедра...

Пыточные клещи боли, кажется, отпускали её, и нечеловеческое страдание замещалось гулкой чугунной тяжестью. Лена попыталась подать голос, но провалилась в глубокую яму наркотического сна.

Она очнулась через сутки в реанимационной палате, в гипсе, вместо головы—белый кокон с прорезями для глаз и рта.

Первым её словом было:

—Марик...

И—счастье: у сына, он был на заднем сиденье, ни одной царапины! У Олейчука—только два синяка. Муж ехал на встречу к банкиру, она попросила подбросить их до школы. Эдик всегда нарушал правила, и всё ему сходило с рук. Но не в этот раз! Уходя от лобового столкновения, Олейчук крутанул руль, подставив под удар Лену.

Красавица «Ауди» разбита в хлам. Лена—тоже.

Полгода она пролежала в областной больнице. Консилиумы, операции, врачи, перевязки. Хирурги по кусочкам собирали её лицо.

Увидев первый раз себя в зеркале, Лена потеряла сознание.

«Лучше бы я умерла!»

Люди с такой внешностью не имеют право на жизнь, они—её оскорбление.

—Мама, я тебя боюсь,—плакал Марик. (Его наконец-то пустили к матери.)

—Жуть!—сказал Олейчук.—Лена, прости, я женился на красавице, а не на уродке.

Она и опомниться не успела, как оказалась разведённой без алиментов—официально Эдик нигде не работал.

Она осталась один на один с судьбой. Родители, подкошенные её несчастьями, тихо сошли

в могилу: сначала мать, потом отец, Денег не было—все сбережения утекли на взятки врачам, на знахарей и гипнотизёров (к ним она тоже кидалась в отчаянии), на дорогие лекарства.

Ничего не помогало!

Олейчук быстро утешился—вскоре после развода он стал счастливым отцом в новом браке. О первой семье вспоминал дважды в год—на день рождения Марика и первого сентября, подкидывая немного денег.

Уборщица в гостинице—потолок её карьеры. Да и туда взяли по знакомству, из жалости. Помогли бывшие однокурсники, а Галя-всё-знает даже организовала сбор денег, когда ей было совсем худо.

Они жили с Мариком в двухкомнатной родительской квартире, дом был добротный, в центре города. Отец Лены когда-то работал инженером на оборонном заводе (предприятие давно закрыли, из цехов вывезли оборудование на металлолом, а корпуса теперь сдавали под склады). С балкона открывался вид на пологий склон, ведущий к реке. Раньше он был застроен частным сектором, теперь здесь появились жилые высотки, дворцы богатей, причудливые офисные здания. Кое-где ещё держалась старина—милые домишки с вишнёвыми садами, палисадники из штакетника, крохотные огородики.

Она решила обновить комнату Марика, оклеить её новыми обоями, выбросить хлам. Разбирая старый книжный шкаф, Лена наткнулась на тугой газетный свёрток, спрятанный за собранием сочинений Моэма.

Это были письма Саши Темникова. Несколько конвертов не распечатаны.

Она сидела на тонком узорном ковре, с душевной болью перебирая постаревшие тетрадные страницы с мелкими чёткими буквами.

«Милая моя, единственная, несравненная, любимая Леночка!»

А вот Олейчук никогда не говорил таких слов. Он ей внушал, что красивые чувства—глупости. Что телячьи нежности—вредны. Жизнь—жесткая, в ней надо урвать кусок. Дело надо делать, а не болтать!

«Когда выпадает свободная минута, я сразу же думаю о тебе. Ночью я мечтаю, как мы будем гулять в парке „Динамо“. Все будут завидовать нашему счастью. Знаешь, о чём я ещё думаю? Какой красивой была бы жизнь, если бы все любили друг друга так, как мы с тобой!»

Отцу сразу не понравился Олейчук, с первого взгляда. Она подслушала разговор с матерью: «Не верю я ему! Мутный он, ненадёжный». А Лена думала по-другому: красавец, спортсмен! Хозяинственный, родители богатые. А Саша—слишком добрый. Непрактичный.

В институт Темников после армии не вернулся. Кто-то рассказывал: Саша уехал на север, на заработки.

Теперь, наверное, у него всё хорошо: жена, дети, работа... Как растревожили её эти старые наивные письма!

«Лена, что бы ни случилось с тобой, знай: всегда и везде, пока я жив, я буду любить и помогать тебе».

Всю ночь она не спала. То садилась на кровать, то подходила к окну, смотрела вниз, на пустой кусок асфальта под фонарём. Закрывала и открывала створку окна. Пришла на кухню, заварила чай. Да так и сидела над невыпитой чашкой, невидяще глядя в стену.

Зачем она погубила свою жизнь?!

Олейчук предал её, бросил. Так ведь и она предала Сашу!..

Тяжесть этой ночи, беспричинная тревога не ушли ни завтра, ни послезавтра.

А тут ещё Марик... Перед тем как бросить джинсы в стирку, полезла в карманы. А там — крошечный целлофановый пакетик с измельчённой травой.

«Наркотики!»

Еле дождалась сына с улицы. Перетрясла всю одежду, перевернула вверх дном комнату. Как она кричала, как умоляла его! Отхлестала полотенцем, рыдая и причитая в голос.

— Мам, да успокойся ты! Взял, чтоб парню передать. Я не принимаю — что я, дурак?

— Заработать захотел? Денег мало? В тюрьгу сядешь!

Истерика нарастала. Марик пулей выскочил из квартиры.

«Я для него — никто! Ненужный я человек, конченый. Уродина».

Открыла коробку с лекарствами, стала глотать таблетки без разбора, пополам со слезами.

Почуял ли Марик беду? Или за вещами забежал? (Когда ругались, кричал он, что не может больше в этом кошмаре жить.)

Марик спас её. Вызвал скорую, позвонил Олейчуку, тот поднял на ноги всех, кого возможно. Откачали Лену.

Эдик сказал:

— Я мог бы упечь тебя в дурку и лишить родительских прав, но на первый раз прощаю. Запомни это и больше не чудесь, — и заржал как конь: — Бу-га-га!

Бессердечный циник! «Крупный рогатый скот», как говорит о нём Галя-всё-знает.

Лена совсем потерялась в жизни. Никакого про света. А Марик пустился во все тяжкие. Учится кое-как, где-то пропадает. Отбился от рук, мать слушает снисходительно, вполуха.

Однажды зазвонил телефон. Мужской голос, тренер по лёгкой атлетике:

— У Марика способности. В него надо вкладывать деньги, силы. Готов хлопотать, чтобы вашего сына

забрали в спортивный интернат, в школу олимпийского резерва.

Страшное волнение охватило Лену. Что делать? Держать Марика дома, возле юбки? Она с ним не совладеет. Парню нужен пример, авторитет. Отправить «в люди», в интернат? Жалко! Заключают. Полусирота — отец то ли есть, то ли нету.

Не с кем посоветоваться. Олейчуку всё равно, он и слушать не стал:

— Это ваши проблемы.

Позвонила Гале-всё-знает. И, надо же — везение: у неё в этом интернате шурин работает. Галя пообещала, что за Мариком присмотрят, а будут обижать, так пусть к дяде Васе обращается, тот быстро шороху наведёт. И, кстати, хорошо, что Лена позвонила, у Гали пропадают два билета профсоюзных — поездка в старинный город Гусев. Музей, прогулка, монастырь древний с чудотворным источником и парк этнографический. И всё — за копейки.

Лена так ни на одно свидание не собиралась, как в эту поездку. Сразу решила, что лицо никому показывать не будет. Платочком лёгким завесит так, чтобы одни глаза были видны. Хорошо, что поездка паломническая, все женщины православные, не будут модничать.

Марика, правда, она не уломала. Стал прикидывался больным: мол, в голове у него гудит, в животе крутит, в автобусе укачивает, и вообще, что он там забыл?! Ясно дело: стесняется матери. Махнула рукой: пусть дома сидит! Она сколько лет никуда не выбиралась, ничего, кроме больниц, грязных полов и унитазов, не видела.

На сердце и тревожно, и радостно — всё какая-то перемена. Крестик она никогда не носила, а тут достала из шкатулки — мамин подарок. И цепочку к нему тонкую серебряную. Лена иногда заходила в храм — свечки поставить. Хотя и не очень верила, что поможет, но — на всякий случай.

Место ей в автобусе досталось у окошка, и она, не отрываясь, смотрела: поля зелёные, перелески кудрявые, а вот серебристой змейкой мелькнула река, а вот серые домишки сиротливо притуились у дороги, а вот берёза белая, резным листом изукрашена. Вот мужика на велосипеде они обогнали — к раме коса прикручена, а вот козы на лужке пасутся, и два козлёнка при них — белый и белый с чёрным пятнышком на боку.

Экскурсовод Федя, школьный учитель истории, старинный город Гусев подал с таким шиком, так задурил путешествующим голову царями, князьями, эпохами, что, кажется, в Париже и то меньше достопримечательностей. И облупленные фасады домов, и бедные улицы с побирушками, не говоря уж про краснокирпичные строения Введенского мужского монастыря, — всё после рассказов Феди у паломников вызывало умиление.

Гостиница «Центральная», где их разместили, была самой простой — с обшарпанной, советской ещё, мебелью, с истёртыми покрывалами и рассыпавшимся паркетом. За стойкой регистрации сидела старушка в стёганой жилетке и вязала носок из козьей шерсти.

В номер Лену поселили вместе с Евдокией Мироновой, женщиной доброй и богомольной. Она сразу взяла шефство над ней: заставила снять с лица «занавеску», покормила лапшой быстрого приготовления (кипятильник и «сухой паёк» у Мироновны всегда при себе), напоила чаем и начертала план на завтрашний день.

— С утра нам дали свободное время, кто спать будет, кто на базар пойдёт за деревенским маслом, оно тут славное, а мы с тобой, Ленушка, давай сходим в храм к ранней обедне. Наши пойдут позже, по расписанию. А я, гляди, ранние службы люблю! Ни толкотни, ни духоты, и на душе просторнее.

После хлопотливого дня Лена долго не могла заснуть. Как там Марик? По телефону отвечал: «Всё нормально». Голодный, небось, сидит, хотя наготовила ему много, по кастрюлькам разложила, на бумажке всё написала.

Потом Лена стала вспоминать людей из автобуса. Федю, который так ловко «врал» и «заливал» про Гусева; благостные семейные пары — видно, что люди не первый раз на богомолье выехали; двух девушек-подружек с нечистой кожей, отчего, наверное, они и жались по углам, всё время отходя в сторонку от группы. Глупенькие, посмотрели бы на Лену!..

Ранним утром шли они с Мироновой в храм. Город Гусев, умытый скорым ночным дождём, сиял. Пахло липовым цветом, благоухали махровые пионы на самодельных клумбах. Соперничая, перекликались петухи во дворах, и так было свежо, легко, грустно и радостно — одновременно.

— Как пригож Божий мир! — вздыхала Евдокия Миронова. — Живи — не хочу!

В этом торжественном раздумье они вошли в старые монастырские ворота.

В храме было малоллюдно, две старухи с клюками сидели на длинной скамейке у стены, монашек монотонно читал непонятное из старинной толстой книги. Христос смотрел с высоты, из самого доньшка купола — горько-свободным, спокойно-величественным взором.

Пахло воском, ладаном, сыростью, луговыми травами (у некоторых икон стояли букеты из ромашек, колокольчиков).

«Вот и жизнь прошла».

Лена даже оглянулась в удивлении — будто вслух кто сказал.

Она прижалась лбом к прохладному кирпичу колоны, да так и замерла. Что-то строгое и печальное затянули певчие, а монашек всё читал и читал грустное и божественное по церковной книге.

— Пойдём, — трогая за плечо, сказала ей Миронова.

Лена повиновалась.

Они прошли мимо небольшой кучки верующих, свернули за колонны вправо и оказались в уютном крыле храма, отделённом от главной части. Возле высокого косоного столика стоял монах с усталым лицом, с опавшей чёрной бородой.

Миронова подвела Лену поближе к нему.

— Батюшка! Женщина эта никогда у исповеди не была.

Монах кивнул.

Лена осталась с ним наедине.

Молчание длилось.

— Вот, — сказала наконец Лена и убрала с лица «занавесочку».

Монах взглянул на её уродство, и ни одна чёрточка в нём не дрогнула, будто он каждый день видел такое чудо-юдо.

Стыд её сковывал. Она была не в силах разомкнуть губы.

— Я... Давно это было... Больше пятнадцати лет прошло... — Лена наконец заговорила и с ужасом слушала свой голос — чужой, заискивающий.

Она заплакала так горько, покаянно, что монах легонько коснулся её плеча, как бы предостерегая её, поддерживая.

— Аборт? — тихо, сочувствующе спросил он.

Лена, всхлипывая, замотала головой.

— Измена?

Она кивнула.

— Говорите, вам легче будет. Не торопитесь.

Она закрыла глаза и, выталкивая из себя слова, сбивчиво начала:

— Саша Темников... я обещала ждать его... письма друг другу писали мы...

Ни на экскурсию в краеведческий музей, ни на прогулку по вечернему Гусеву Лена не пошла. Лежала в номере, накрывшись простыней с головой. — Устала после службы, — объясняла Миронова любопытствующим. — Завтра в дорогу, сил набирается.

Отец Георгий тоже лежал пластом в своей узкой, похожей на пенал, келье. Отпросился у настоятеля — резко занемог после утренней службы. Головокружение, ноги подкашиваются. Ослабел что-то. — Может, перемена погоды или магнитная буря? — настоятель в миру был геофизиком и климату придавал первостепенное значение. — Идите, отец Георгий, трапезу вам принесут.

Монах лежал на своём твёрдом ложе как в гробу — вытянувшись на спине, сложив руки на груди. Он глубоко и прерывисто вздыхал, вспоминая тяжёлую исповедь.

«Как вы думаете, простит ли меня Саша?»

«Бог простит!»

«Может, мне найти его нужно?»

«Считайте, что вы его уже нашли. Если ваше раскаяние искренно, Бог его примет».

«А Саша?»

«Склоните голову, я сейчас прочитаю разрешительную молитву».

Отец Георгий встал и, тяжело шаркая, подошёл к полочке с книгами. Отодвинул их в сторону,

достал небольшой пакет. Снял целлофан, развернул жёлтую, потёртую на сгибах газету. Это были письма Лены, которые когда-то она присылала в армию Саше Темникову.

Отец Георгий стоял на коленях перед иконой Спасителя и, прижимая письма к груди, горько-горько плакал.